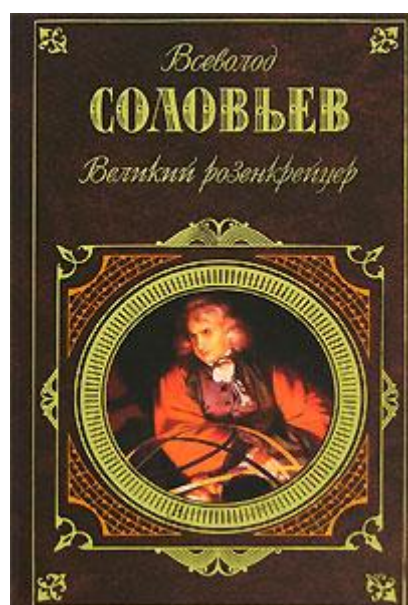




Всеволод Сергеевич Соловьев

Волхвы

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172104
Великий розенкрейцер: Эксмо; Москва; 2006
ISBN 5-699-19630-7

Аннотация

Россия блистательной эпохи Екатерины II. Граф Калиостро, тайные ордена масонов и розенкрейцеров внедряют опасные мистические учения в умы высшего русского общества, что грозит утерей истинной веры и духовной гибелью. Потому что волхвы – это люди, владеющие тайными знаниями, достигнутыми без Божьей помощи, а значит их знания могут завести человечество в преисподнюю.

Содержание

Часть первая	4
I	4
II	7
III	11
IV	14
V	17
VI	20
VII	24
VIII	27
IX	31
X	34
XI	37
XII	40
XIII	43
XIV	48
XV	51
XVI	54
XVII	56
XVIII	59
Часть вторая	62
I	62
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Всеволод Соловьев

Волхвы

*Иисусу же родившюся в Вифлееме Иудейстем
во дни Ирода царя, се, волсви от восток приидоша
во Иерусалим... и падше поклонишася Ему:
и отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары,
злато и ливан и смирну.*

Евангелие от Матфея (2:1, 11)

*И аще имам пророчество, и вею тайны вся
и весь разум, и аще имам всю веру,
яко и горы престаювати,
любве же не имам, ничтоже есмь.*

Первое послание к Коринфянам апостола Павла (13:2)

Часть первая

I

Императрица улыбнулась, и в ясных глазах ее мелькнул насмешливый огонек.

— Конечно, — сказала она, — для человека, покинувшего Петербург два десятка лет тому назад, здесь многое должно казаться новым и совсем неузнаваемым, но вряд ли происшедшие перемены могут поразить того, кто покинул этот город семи- или восьмилетним ребенком... Это слишком ранний возраст для наблюдений, да и воспоминания вряд ли способны сохраниться в достаточной мере полными.

— Я не был тогда ребенком, ваше величество. Мне сорок лет, а тогда, стало быть, было двадцать.

Императрица сделала невольное движение назад, с большим изумлением вглядываясь в своего собеседника.

Перед ней был крепкий и стройный человек среднего роста. Ни одна морщинка еще не тронула его молодого и красивого, несколько бледного лица, поражавшего своим твердым и спокойным выражением. Сразу, не вглядываясь в этого человека, его можно было принять за юношу, однако теперь, пристально смотря на него, императрица заметила, что в его интересном лице уже нет и следа неопределенности, мягкости и женственности — спутников раннего возраста.

«Но сорок лет!.. Разве это возможно?.. Смеется он, что ли, надо мною?» — невольно подумала она.

Наконец она сообразила и вспомнила все, что ей было известно об этом человеке. Вспомнила, что, разрешив Ивану Ивановичу Бецкому представить его ей сегодня, во время праздника, она и думала увидеть человека зрелого возраста. Но, взглянув на него в первую минуту, когда он спокойно и почтительно склонился перед нею, она забыла о его летах. Она сразу подметила в нем нечто особенное, в чем еще, конечно, не могла дать себе отчета, но что ей понравилось. Через минуту, после первых фраз, она уже перешла с ним в тот благосклонный, несколько шуточный тон, какой часто принимала с молодыми людьми и девушками, когда бывала в хорошем расположении духа. А сегодня весь день она именно была в таком расположении.

– Возможно ли это? – наконец проговорила она. – Где нашли вы секрет стирать следы безжалостного времени? Какие волхвы передали вам это искусство, столь драгоценное и для всех нас, смертных, недостижимое?

Говоря это, она все продолжала вглядываться в его спокойное и бледное лицо, на котором мелькнула теперь улыбка, почему-то показавшаяся ей загадочной.

– Да, я знаю, я очень моложав, – сказал он, – но не знаю, ваше величество, большое ли это благополучие... иной раз даже не совсем лестно казаться моложе своего возраста.

Что было в этих словах – упрек? Во всяком случае, лицо императрицы внезапно стало серьезным. Ее шутливый благосклонный тон исчез, и она уже как бы совсем новым голосом спросила:

– И все эти двадцать лет вы провели за границей, князь?

– Нет, ваше величество, я два раза приезжал в Россию, только не был в Петербурге.

– Двадцать лет – это много, много времени, и от двадцати до сорока – лучшая пора жизни! Если вы так изумительно сохранились, вы должны были провести эти годы безмятежно и счастливо?!

Лицо его оставалось спокойным, и он ничего не ответил. Императрица продолжала:

– Да, я знаю, помню, Иван Иванович говорил мне, что вы ученый, что вы много работали, чуть ли не во всех университетах Европы – и в Германии, и в Англии, и во Франции... Я очень вам завидую, князь. Но что мне особенно приятно, это то, что вы, проведя почти всю жизнь в чужих краях, вдали от родины, не забыли русского языка и выражаетесь на нем так, как бы никогда отсюда не выезжали.

– Ваше величество, я в детстве говорил и думал по-русски, я никогда не забывал, что я русский, и берег в себе это. А что я правильно изъясняюсь – что же в том удивительного? Когда-то наш язык был чуждым для вашего величества, а вы его знаете не хуже моего, а, быть может, и гораздо лучше.

Екатерина едва заметно кивнула головою и наградила своего собеседника прекрасной улыбкой.

– Я русская, – проговорила она.

В это время в их разговор ворвались раздавшиеся неподалеку звуки музыки, шум и движение придворной толпы. Императрица, всегда жадно и с интересом вглядывавшаяся в новых людей и увлекавшаяся в первую минуту своими наблюдениями и впечатлениями, вспомнила, где она, и решила, что пора прекратить эту беседу. Но все же ей как бы жаль было сразу отпустить нового знакомого. Она сделала шага два вперед, остановилась и обратилась к нему:

– Теперь вы остаетесь здесь, не правда ли? Вы приехали не для того, чтобы снова возвратиться в Европу?

– У меня еще нет никаких определенных планов, ваше величество.

– Передайте вашему батюшке, что я сожалею о его недуге, что я довольна была познакомиться с вами. Да, я всегда любила вашего отца, я думала одно время, что он может быть одним из моих деятельных помощников... По правде сказать, я сердилась на него за то, что он всегда упрямо отстранялся от серьезной роли, какую мог бы играть при его дарованиях. Но я уже давно не сержусь... Быть может, он и прав... Как бы ни было, старого я не забываю: в трудное время он оказал мне немало услуг – и я ему благодарна... До свидания, и прошу помнить, что сын князя Захарьева-Овинова может всегда рассчитывать на мое расположение.

Она протянула ему руку с той величественной грацией, которая, казалось, ей одной была присуща.

– Ваше величество, из глубины сердца благодарю вас и за отца, и за себя! – сказал князь, прикасаясь губами к руке императрицы.

Нарядная толпа их разделила.

II

Разговор этот происходил в стенах бывшего Воскресенского Новодевичьего, так называемого Смольного, монастыря, уже несколько лет превращенного в «воспитательное общество для благородных девиц».

Это воспитательное общество было устроено императрицей по образцу известного Сен-Сирского института близ Парижа. Много нежных забот положила Екатерина на этот созданный ею с помощью Ивана Ивановича Бецкого рассадник женского образования. Она заботилась о воспитывавшихся в нем девочках как о собственных детях.

В начале семидесятых годов она переписывалась с своим Смольным с Вольтером, передавала ему об успехах воспитанниц, спрашивала его советов относительно того, какие пьесы играть девочкам. Великий льстец отвечал ей таким тоном, будто он и сам был глубоко заинтересован Смольным, давал советы и пропитывал свои письма тончайшей лестью.

Так проходили годы. Царица не забывала Смольного. Вот и теперь в институтских стенах по случаю рождения великого князя Константина Павловича было назначено празднество.

Праздник этот был не институтский, а придворный – только с участием воспитанниц. Приглашен был весь двор и «обоего пола особы первых пяти классов».

Стояла чудная майская погода. Густой монастырский сад, разбитый по плану знаменитого Растрелли, недавно оделся яркой зеленью и запестрел цветами.

Теперь весь этот сад преобразился; в его аллеях была устроена блестящая иллюминация, на каждом шагу возвышались причудливые киоски и павильоны. В глубине главной аллеи возвышался «древний храм», созданный во мгновение ока, но тем не менее производивший величественное впечатление.

Однако в саду пока еще не было заметно особого движения. Светлый майский вечер наступал медленно. Иллюминацию только что начали зажигать, и огоньки едва заметно мигали среди розового света, лившегося с неба.

Все приглашенные находились в большом институтском зале и прилегавших к нему комнатах. Весь этот огромный зал был снизу доверху обставлен оранжерейными тропическими растениями и изукрашен венками и гирляндами из живых цветов. То там, то здесь выделялись искусно сделанные из таких же цветов вензеля императрицы и целые слова и фразы. Эти фразы должны были выражать чувства благодарности и любви воспитанниц к их августейшей благодетельнице, а также те правила добродетели, какими они намерены руководствоваться в жизни.

В глубине зала возвышалась так называемая Парнасская гора, с ее вершины на многочисленных зрителей глядели хорошенькие личики муз, изображаемых девятью воспитанницами, одетыми в костюмы древнегреческого покроя и имевшими каждая в руках свои классические атрибуты.

Нужно было отдать справедливость распорядителям празднества и главному его руководителю, «воспитателю детскому, человеку немецкому», как его называли тогдашние зубоскалы, – Ивану Ивановичу Бецкому: все девять муз были одна другой красивее и милее, а мягкие складки древнегреческих одеяний и нежные цвета тканей еще более выделяли их юную красоту и свежесть, грацию и чистоту их девственных форм. Да и вообще в этом рассаднике женского образования в то время, благодаря какой-то счастливой случайности, красота и привлекательность вполне торжествовали над дурнотой. Это можно было заметить, обратив внимание на два больших амфитеатра, устроенных по обеим сторонам стеклянной двери, ведущей из зала в сад. На этих амфитеатрах среди цветов и зелени разместились все воспитанницы Смольного, не принимавшие участия в программе празднества. Здесь были

девочки, начиная с семи– и восьмилетнего возраста и кончая семнадцатью и восемнадцатью годами.

Многочисленные любители красоты и юности, находившиеся теперь в зале, могли вдоволь налюбоваться бесконечным разнообразием детских и женских лиц, из которых почти каждое останавливало на себе внимание если и не особенной красотой, то, во всяком случае, миловидностью и привлекательностью. Дурнушек решительно не было, или, вернее, они встречались только как исключения. Да и вдобавок эти редкие исключения были так искусно рассажены, что наблюдатели их совсем не могли заметить.

Девушки и девочки, хотя и одетые в свои форменные однообразные платья, тем не менее, очевидно, употребили немало искусства на свой наряд и прическу, и каждая из них готова была выдержать самую строгую критику. А строгих критиков-знатоков оказывалось много. Уже с самого начала праздника оба амфитеатра стали ежеминутно все более и более окружаться блестящими кавалерами в раззолоченных кафтанах. Правда, почти все эти кавалеры не отличались молодостью, но зато их грудь была украшена знаками высших отличий, их осанка говорила об их государственном значении. Их важные лица, перед строгим выражением которых трепетало ежедневно великое множество подчиненных и просителей, теперь освещались добродушной и нежной улыбкой.

И всего больше нежности и ласки было разлито на некрасивом, мясистом, до времени обрюзгшем лице баловня счастья Безбородки, который будто так и прирос к месту у амфитеатра. Его щурившиеся, блестящие и влажные, как у блаженно дремлющего кота, глазки то и дело загорались, перебегая от одного хорошенького личика к другому. Наконец он не выдержал, покачулся, сделал несколько шагов на своих толстых ногах к самому амфитеатру и начал нашептывать что-то, очевидно, очень милое избранной им белокурой головке.

Его примеру последовали и другие. Девушки улыбались, кокетливо и мило вскидывали глазами, прелестно краснели и отвечали на обращаемые к ним комплименты сановников – кто односложно и робко, а кто и с милой детской смелостью.

Среди наполнявшей зал громадной толпы гостей то здесь, то там мелькали четыре весталки. Да, «весталки» – так были названы четыре девушки, только что кончившие выпускные экзамены, но еще не покинувшие институтских стен. Они были одеты все в белом, в белые туники из тонкой шерстяной ткани, с белыми розами, вплетенными в их длинные и густые распущенные волосы. Они носили название весталок, и им еще предстояло принять участие в дальнейших нумерах программы празднества. Первоначальная же их роль заключалась в том, что они у входа в зал встречали и приветствовали гостей.

Все эти четыре весталки по красоте и изяществу были лучшими перлами Смольного института, и старик Бецкий невольно потирал себе руки от удовольствия, наблюдая за ними, видя, какое впечатление они на всех производят, с какой грацией, скромным достоинством и любезностью они исполняют роль хозяек этого душистого, наполненного зеленью, цветами и красотой зала.

Императрица уже успела сказать ему, что она очень довольна его выбором и что никогда еще с самого основания института из его стен не вступали в свет такие красавицы, как эти четыре весталки.

Он видел, как видели это и все здесь собравшиеся, что вообще императрица довольна всем и находится в самом лучшем настроении духа. Теперь он, остановясь несколько в сторонке, не без изумления наблюдал, как долго и оживленно императрица говорила с представленным им ей сыном его старого друга, князя Захарьева-Овинова. Разговора он не мог слышать, но видел внимательное, оживленное лицо государыни. А он давным-давно в мельчайших тонкостях изучил это лицо. Он видел благосклонную, искреннюю улыбку, которой Екатерина на прощанье одарила своего собеседника. Эта улыбка была многозначительна –

так Екатерина улыбалась только тогда, когда отпускала людей с тем, чтобы с ними снова встретиться.

Когда государыня прошла дальше, по направлению к Парнасской горе, и когда за нею, осторожно протискиваясь вперед и всеми силами стараясь опередить друг друга, устремились придворные, Бецкий величественной походкой и, вызвав на своем тонком, породистом лице добрую улыбку, которая, как многим казалось, имела большое сходство с улыбкой императрицы, подошел к князю и почти незаметным движением, но крепко стиснул ему руку.

– Любезный друг, поздравляю от сердца, – проговорил он.

Но князь взглянул на него так рассеянno и неопределенно, как будто его не узнал, как будто не слышал слов его.

Бецкий хотел было изумиться и сказать что-то, но в это же мгновение к нему спешно подошел молодой придворный кавалер и торопливо передал ему, что государыня его спрашивает. Он оставил князя и несколько ускоренным, но неизменно величественным шагом направился к Парнасской горе.

Между тем внимание императрицы, оказанное ею человеку, почти никому здесь неизвестному, всех заинтересовало. Многие взгляды были устремлены теперь на князя. О нем спрашивали друг у друга. Из числа особенно заинтересовавшихся им был князь Щенятев, молодой человек, известный всему Петербургу, бросавшийся всем в глаза своим чрезмерным франтовством и комичной наружностью. Разряженный в пух и прах, весь сверкающий бриллиантами, князь Щенятев теперь метался от одного к другому. Его брови поднялись и представляли из себя два вопросительных знака, глаза горели ненасытным любопытством, маленький, подобный пуговке, носик покраснел. Захлебываясь и шепелявя, князь обращался к каждому:

– Бога ради, кто это? Кто? С кем это государыня так долго говорила?

Но никто ему не мог удовлетворительно ответить, а ему никак невозможно было успокоиться. Он не был в состоянии, по существу своего характера, чем-нибудь теперь развлечься, о чем-нибудь подумать, пока не решит вопроса: кто это? – пока в свою очередь не получит возможности удовлетворить любопытства других.

Но вот он заметил невдалеке от себя человека, почти так же, как и сам он, блестяще одетого, но уже не молодого, с добродушным и приятным лицом. Это был не менее его самого известный всему Петербургу того времени богач, граф Александр Сергеевич Сомонов, тот самый Сомонов, про которого Екатерина, знакомя его с одним из иностранных посланников, сказала: «Вот человек, делающий все возможное, чтобы разориться, но разориться никак не могущий».

Князь Щенятев сообразил, что граф, наверное, удовлетворит его любопытство, подлетел к нему и, почтительно кланяясь, начал свою фразу:

– Граф, позвольте спросить вас, вы, наверно, знаете, кто этот молодой человек, с которым государыня так долго говорила?

Граф взглянул, добродушно улыбнулся и медленно выговорил:

– Какой молодой человек?

– А вон тот, вон, видите, в темно-фиолетовом кафтане! Разве ваше сиятельство не изволили заметить, его Иван Иванович представил государыне... Вон тот, в фиолетовом кафтане...

– Это вовсе не молодой человек, – так же протяжно и невозмутимо сказал граф Сомонов.

Брови князя Щенятева поднялись еще выше, глаза готовы были выскочить, вся его длинная фигура на тонких, как жерди, ногах изобразила недоумение.

– Как? – мог только произнести он, не понимая, что такое говорит ему граф.

- А так, что это вовсе не молодой человек, потому что он лет на пятнадцать вас старше.
- Не может быть!
- Если я говорю, значит – знаю. Действительно, он моложав необыкновенно...
- Да кто он? Кто? Ведь вы его знаете, граф?
- Конечно, знаю.

Щенятев весь так и впился в графа, прямо в его рот, будто желая схватить слова, пока они еще не вылетят.

– Конечно, знаю, – повторил Сомонов. – Неделю тому назад это был господин Заховинов, а сегодня – это князь Захарьев-Овинов.

Щенятев хлопнул себя по лбу.

- И как я не догадался!
- Почему же вы должны были догадаться?

Но Щенятев был уже далеко и передавал направо и налево разные подробности о господине Заховинове, превратившемся в князя Захарьева-Овинова. Подробности эти были им тут же изобретаемы; но этот процесс творчества происходил бессознательно, ибо князь Щенятев был всегда уверен в том, что он только что выдумал, и искренно считал эту выдумку правдой.

III

Тот, кто обратил на себя внимание этого, по большей части только имеющего веселый вид, но в сущности скучающего общества, жадного до всякой новинки, неспешно отошел в сторону. Он остановился почти у самой стены зала, скрытой широколиственными тропическими растениями, венками и гирляндами цветов.

Толпа двигалась перед ним взад и вперед. Одно за другим мелькали разнообразные, незнакомые ему лица, и его светлые глаза следили за ними, встречая и провожая их спокойным, даже как-то чересчур спокойным взглядом. На бледном и неподвижном, будто застывшем лице его нельзя было прочесть ни скуки, ни веселья, ни горя, ни радости, ни доброты, ни злобы. Это лицо в рамке окружавшей его зелени и цветов казалось почти неживым, почти мраморным изваянием. Даже самый блеск его глаз временами становился каким-то неестественным, нечеловеческим, жутким. Внимательно глядя теперь на это лицо, нельзя уже было найти в нем молодости: несмотря на отсутствие морщин, несмотря на всю чистоту его очертаний, это было лицо не молодое и не старое – странное, поразительное лицо, будто вышедшее из неведомого мира, где нет ни времени, ни пространства, где действуют иные, неземные и нечеловеческие законы.

Если бы императрица теперь взглянула на него, она изумилась бы, может быть, даже еще больше, но изумилась бы иначе. Она своим пронизательным и тонким взглядом сумела бы подметить в нем всю его необычайность, ускользавшую от рассеянного взора толпы, и ей, твердой и смелой, полной сознания своей силы, разума и знаний, наверное, стало бы неловко, и она смутилась бы, остановясь в недоумении перед новым, неясным и непонятным вопросом.

Но ведь это был не призрак, не дух, не выходец из могилы. Это был живой человек, явившийся хоть и издалека, вышедший хоть из тьмы и неизвестности, в которых он до сих пор скрывался, но теперь уже получивший известность. Прошлое его не было прошлым неведомого авантюриста и искателя приключений. В этом прошлом была тень, но тень эта теперь рассеялась... Еще немного времени – и человек этот уже не станет возбуждать никаких вопросов...

Да, это был живой человек, как и все, и в нем теперь мелькали живые человеческие мысли. Живые... человеческие... но все же, наверно, ни у кого из находившихся в этом прекрасном зале не было таких мыслей!

«Зачем я здесь? – думал он. – Зачем надо это? Что неожиданное, что неизбежное ждет меня в этих стенах, среди этой толпы, не нужной мне и которой я не нужен, так как между нами нет ничего общего. Я здесь, так как неизбежно должно совершиться нечто знаменательное в моем существовании... Я знаю это, но что же меня ждет? Как обойти мне грозящую опасность? Опять борьба во тьме, с невидимыми врагами!.. Но ведь немало было этой борьбы – и тьма рассеялась, и я выходил победителем. До сих пор я погружался в роковую тьму, весь закованный в мое заветное, с таким трудом добытое мною оружие – и я знал свою силу, я верил в нее. Тьма не страшила меня, неведомые враги казались мне ничтожными. Я боролся с радостью, почти с восторгом – и потом мне всегда хотелось труднейшего, бесконечно труднейшего!.. Мне становилось почти обидно, что борьба так ничтожна, что победа так легко дается...»

«Я креп с каждой битвой, и я знаю теперь, как много прибавилось во мне сил... Откуда же это непостижимое, странное смущение, почти робость?»

«А, так вот он где, новый враг мой! Смущение, моя робость и есть враг; я его вижу, наконец, чувствую, осязаю – и я должен побороть его!»

Во всем существе его произошло нечто неуловимое, чего нельзя передать словами. Это было могучее усилие воли, напряжение всех духовных сил. И через несколько мгновений он уже был победителем. Глаза его вспыхнули новым огнем, мертвенное лицо оживилось. Ни смущения, ни робости. Он глубоко вздохнул всей грудью. Будто давящая тяжесть спала с его плеч, будто он вышел на чистый воздух из душной темницы, порвав мучительные оковы.

Теперь, глядя на него, нельзя было испугаться его загадочного вида, нельзя было принять его за каменное изваяние. Жизнь нахлынула на него, и в этой жизни было для него много счастья, так как счастье для него заключалось в сознании своей силы.

«Только это? Опять только это! – мелькало в его мыслях, – но какой же урок я извлеку из этой пестрой толпы, что в ней?»

Он пристально, пристально начал вглядываться в мелькавшие перед ним лица, ища в них чего-нибудь для себя нового и интересного.

Но лица мелькали одно за другим и скрывались. Перед ним проходили мужчины и женщины, безобразные и красивые, молодые и старые, но ничего нового, ничего интересного не замечал он в них. Он чувствовал и понимал, что, не будучи знаком с ними, никогда до сих пор не видал их в действительности, он все же хорошо и давно их знает, давно уже выяснил себе весь смысл их жизни, давно перестал интересоваться этим смыслом.

Он вспомнил свой разговор с императрицей.

«Да, она интереснее всех, бесконечно интереснее! – подумал он. – Да, я должен был встретиться с ней, и мне надо на ней остановиться. Создавая ее, природа не пожалела своих сил, богато и щедро наделила ее и светом, и мраком! И света так много, что мрак в нем теряется, сразу его и не заметишь... И если бы она знала... Или за этим я здесь, чтобы она знала? Но нет, ничто не указывает мне на то, что я здесь для нее. Я для себя, для себя одного, и встреча наша не для нее, а для меня. Но что же она может дать мне? И то, что она может мне дать, зачем оно мне нужно?»

Он не успел заметить, как в этом мысленном вопросе опять промелькнуло что-то смущающее и почти тоскливое. Он не успел заметить, потому что все внимание внезапно устремилось в одну точку.

Он увидел невдалеке от себя одну из четырех весталок. До сей минуты он еще не замечал ее, она в первый раз попалась ему на глаза. Весталка остановилась в нескольких шагах от него.

Это была девушка, одаренная большой красотой, или, вернее, прелестный ребенок, едва-едва превратившийся в девушку, но уже обладавший всеми чарами женской силы и власти. Это была самая красивая из четырех красавиц весталок.

Она будто нарочно была создана, чтобы носить эту древнюю белую тунику. Ее грациозная, но в то же время крепкая фигура, ее выразительное юное лицо неизбежно должны были остановить внимание художника, томящегося в поисках идеала. И художник именно изобразил бы ее весталкой, хранящей чистый огонь целомудрия. В ней выражалось, хоть, быть может, и бессознательно, полное торжество духа над материей; но над материей не бессильной, а могучей, прекрасной, обладающей всеми своими чарами...

Весталка сделала еще несколько шагов вперед, как бы направляясь к тому, кто так пристально глядел на нее теперь блестящими глазами.

Еще миг – и взгляды их встретились. Она остановилась и замерла на месте. Но не опустились ее ясные, голубые глаза, опущенные темными ресницами, не вспыхнула краска стыдливого девического румянца на ее нежных, почти еще детских щеках. Она глядела прямо в эти блестящие, горевшие перед нею глаза, глядела с бессознательным изумлением, страхом, надеждою, радостью. Самые противоречивые чувства выражались в лице ее и сливались в одно, которому трудно было придумать и определение. Она была поражена, будто заколдована. Эти блестящие глаза внезапно овладели ею, всем ее существом, всеми

ее помыслами и ощущениями. Казалось, что бы ни случилось теперь вокруг нее, она все же не вышла бы из своего оцепенения. Грянул бы над нею удар грома – и она его не услышала бы. Земля разверзлась бы под нею – а она осталась бы на месте, не дрогнув, прикованная этим поглотившим ее взглядом.

И так могло оставаться долго, долго, всегда. Ей и теперь казалось, что над нею проходит целая вечность.

Но это была только минута.

Он опустил глаза – и она получила свободу. Она невольно схватилась за сердце, которое вдруг учащенно, жутко, как-то непонятно забилося.

Она тряхнула своей прелестной головой, будто отгоняя от себя туман. Потом голова ее склонилась, прядь густых, по колени длинных, светлых волос, перевитых белыми розами, скользнула с плеч на горячо дышащую грудь. Тонкие ресницы опустились, румянец залил щеки – и весталка, ничего и никого не видя, пораженная и смущенная, скрылась в толпе.

IV

«Так не совсем еще разрушен твой храм, о таинственная богиня! – пронеслось в его мыслях, – у тебя есть еще жрицы!.. И среди жалкой комедии, детской забавы ты нашла охранительницу своего огня... Дитя светлое, дитя, как ты, прекрасное! Какая прозрачная, как кристалл, душа светится в этом взгляде... Да, тебя не коснулось еще смрадное дыхание жизни. А ведь вот коснулось же оно подруг твоих: они более или менее, а уже приняли в себя частицу яда. Каждый такой праздник почти для всех них был вреден, много вреда принесет им и сегодняшний день, а ты, ты оставалась и остаешься чуждой всем этим соблазнам. Надолго ли? Что ждет тебя?»

«Я еще встречусь с тобою!» – закончил он свои мысли, быть может, неожиданно для самого себя, но твердо, уверенно и спокойно.

Зал пустел. Многочисленные гости вслед за императрицей прошли уже в сад, где в прозрачном полусумраке наступившего теплого вечера блистала иллюминация. Опустели и два амфитеатра.

Вслед за всеми и он сошел в сад и медленно подвигался вперед по аллее, где с обеих сторон возвышались плетни из свежей зелени, связанные с большими померанцевыми деревьями. Направо и налево то и дело выступали открытые павильоны со сценами, на которых воспитанницы в самых разнообразных костюмах изображали живые картины.

Но он глядел на все это рассеянно, не соображая смысла того, что он видел. Перед его глазами мелькали только формы и тотчас же пропадали, не оставляя в памяти никакого впечатления.

Вот он уже в конце аллеи, перед «храмом добродетели». Тут шло балетное представление, и он расслышал, что кто-то вблизи его назвал это представление «La Rosiere de Salency». Неведомо где помещавшийся оркестр наполнял воздух нежной мелодией. С зеленой горы, скрывавшей вход в «храм добродетели», сходили одна за другою грациозные пастушки, неся свои дары той, кто всех добродетельнее, кто избрана и признана всеми Rosier'ою. Но ее, виновницы торжества, еще нет... она скрывается где-то. Молоденькие пастушки танцуют и очень милыми, но все же довольно странными движениями прославляют добродетели своей подруги.

Зеленая гора, закрывавшая вход в храм, разверзается. Храм открыт, и в середине его виден жертвенник со священным огнем, а вокруг него помещается его девственная стража – семьдесят весталок.

А вот, наконец, и она! Ее ведут беспечные подруги, до того довольные весельем, что еще не успели догадаться ей завидовать.

И это опять она, та, которую он видел в одежде весталки и на ком остановился мыслью. Теперь она скинула с себя свою одежду жрицы, она превратилась в пастушку, но ненадолго. Вокруг нее подруги сплетаются в веселом танце, а потом венчают ее цветами, буквально засыпают ее ими. Под этой благоухающей ношей она поднимается по ступеням храма и склоняется к жертвеннику. Ее окружают жрицы, каждая со своим светильником; а она, вся в цветах, в разметавшемся золоте светлых кудрей, недвижима, не смеет поднять головы, не смеет взглянуть на горящее над нею жертвенное пламя; она, очевидно, в своем смирении не знает сама – достойна ли она подняться, достойна ли взглянуть на него.

Но жрицы ее поднимают, подводят к жертвеннику, вручают ей светильник. Тогда глаза ее поднимаются, и в них блещет светлая радость. Она твердой рукой возжигает свой светильник от пламени жертвенника – и в тот же миг одежда пастушки с нее спадает, и она является перед зрителями весталкой. Она стоит теперь высоко и, держа светильник, в белоснежной одежде, глядит сияющим взором на своих прежних подруг-пастушек и новых подруг-веста-

лок, которые у ног ее, перемешавшись между собою, начинают новый танец. Но вот откуда-то появляются гирлянды зелени и цветов, и прелестные танцовщицы все обвиты, переплетены этими гирляндами. Они образуют собою живой гигантский сад. Этот живой сад плавно и грациозно движется под звуки незримого оркестра.

Она все глядит, недвижимая на своей высоте, с приподнятым светильником, который не мелькает, не трепещет в твердой руке ее, а горит ровным пламенем. Она глядит, озаренная жертвенным светом, чудно прекрасная в своей девственной красоте. Спокойствие и тихая радость в ее взгляде. По праву признали ее достойной венца добродетели, сознательно приняла она обету священного жертвенника. Не ждут ее испытания и беды, не грозит ей падение, не дрогнет светильник в руке ее, не померкнет его пламя...

Но вот ее взгляд отходит от танцующих подруг, от этого живого, трепещущего и волнующегося у ног ее сада, он устремляется дальше, за пределы сцены, туда, где тесной толпой собрались зрители. Вдруг преображается все лицо ее. С ее щек слетает румянец, глаза широко раскрыты, она неподвижна, она замерла, будто жизнь отлетает от нее, еще миг – и рука ее выпускает светильник, пламя его ярко вспыхивает и потухает... Она шатается... готова упасть... Подруги в изумлении, в ужасе прервали свой танец, кидаются к ней, поддерживают ее... На всех лицах смущение, испуг...

Смущение и между зрителями – эта сцена не входит в программу балета.

– Любезный Роджерсон, пойдите посмотрите, что случилось с прелестной весталкой, – верно, бедное дитя чересчур устало, ей дурно... помогите ей скорее! – прозвучал под ветвями померанцев и олеандров громкий голос Екатерины.

Сухошагая фигура лейб-медика отделилась от группы, центром которой была государыня, и быстро стала подниматься по боковым ступенькам, ведущим на сцену.

В то же время из густой толпы зрителей вышел человек в темно-фиолетовом бархатном кафтане. Он быстро удалялся от «храма добродетели» и свернул на боковую аллею, где почти никого не было, но где так же ярко горели огни иллюминации.

Ведь он должен был знать это, он должен был знать, что не этому наивному ребенку бороться с его взглядом! Зачем же он смутил ее? Зачем ворвался в душу, ничем от него не защищенную, не ждавшую никакой опасности, – разве он враг ей? Он не желал ей зла, он не хотел смущать ее, он просто бессознательно залюбовался ею, ее девственной красотой и светом ее чистой души, так ясно для него горевшим в глазах ее. Он глядел на нее бессознательно...

Но в этом-то и была вина его, и он понимал эту вину, он был недоволен собою. Бессознательно! Значит, он ослабел, значит, он допустил себя влиянию всей этой толпы, не оберег себя от этого вредного влияния. Скорей же отсюда!..

И он спешил вперед. Он решил немедленно же покинуть этот праздник и успокоиться наедине с собою, отогнать от себя все, что его смутило...

– Это вы? Вы здесь?! – раздался рядом с ним тихий и нежный женский голос.

Он остановился, и бледное лицо его еще более побледнело.

В двух шагах от него была женщина... Яркие огни иллюминации озаряли ее стройную, высокую фигуру, ее роскошный наряд, ее обольстительное молодое лицо с мягкими и черными, как уголь, глазами.

– Или вы меня не узнаете, господин Заховинов? – опять сказала она, и милая веселая улыбка озарила ее лицо, делая его еще обольстительнее. – Но ведь я вот узнала вас!

Она протянула ему руку.

Он коснулся этой руки и как бы очнулся от сна. Лицо его приняло обычное спокойное выражение. На ее улыбку он ответил ей слабой улыбкой.

– Как же мне не узнать вас, графиня, – проговорил он, – но вы застали меня врасплох... Я очень рассеян... Когда же вы вернулись в Петербург?

– Я вернулась недавно, но дело не в том, сударь, а в том, как это вы здесь? Полгода тому назад, когда мы простились с вами в Риме, вы говорили мне, что едете куда-то, я уж не помню куда, только не в Россию, и надолго... И вот через полгода вы здесь, на придворном празднике... вы, ученый, нелюдим, философ!..

– Все это так, графиня, и вы можете изумляться, но вспомните мое последнее слово, каким я проводил вас... Впрочем, конечно, вы его забыли...

– Нет, постойте, помню, вы сказали, что мы встретимся, и встретимся очень скоро.

– Вот я и сдержал свое слово.

– Да, – задумчиво произнесла она и почти тревожно взглянула на него, будто ища его взгляда. Но он не глядел ей в глаза.

– И вы смеялись и уверяли меня, что уж на «этот раз» мое предсказание не может сбыться, что если мы и встретимся, то никак не можем встретиться скоро.

– Да, я смеялась, но теперь, вы видите, не смеюсь... и даже очень рада, что ваше предсказание исполнилось. Знаете, вдруг сейчас, на меня так и пахнуло Италией, Римом... Право, я очень рада вас видеть, господин Заховинов!.. А теперь скажите мне, надолго ли вы здесь?.. Что вы здесь делаете?

– Князь, наконец-то я нашел вас! Никак вы собираетесь уезжать? В таком случае я очень рад, что мы встретились... Я хотел просить вас...

Но тут граф Сомонов, говоривший это, заметил графиню и стал перед нею раскланиваться.

– Сударыня, извините, Бога ради, мою непростительную рассеянность.

Она, вопреки своему обыкновению, несмотря на всю свою находчивость, ничего даже и не ответила графу – так она была поражена.

«Князь!»

Она не могла ошибиться, она слышала ясно... что же это за мистификация? Что это значит? Заховинов – князь! Да ведь таких князей нет... Но Сомонов, очевидно, его хорошо знает. Кто же он?

Она, однако, не выдала охватившего ее изумления, на лице ее мелькнуло горделивое, почти надменное выражение. Она кивнула головою Сомонову и князю и быстро скрылась по направлению к большой аллее.

– Прелестная женщина... и такая умница, не правда ли? – сказал Сомонов.

– Да! – холодно ответил князь. – Вы, кажется, сказали, граф, что вы меня искали... чем могу служить? – прибавил он.

– Да, вот что, я хотел просить вас пожаловать ко мне завтра к обеденному столу. Я непременно должен вас кое с кем познакомить. Прошу вас мне не отказать в этом, ведь у нас найдется немало общего, судя по тем письмам, какие я получал через вас из-за границы... Завтра мои двери закрыты для всех, за исключением некоторых друзей, жаждущих знакомства с вами, чающих узнать от вас много нового.

– Благодарю вас, граф, я у вас буду.

Они пожали друг другу руки и расстались.

V

В далекие времена татарского владычества и опустошительных набегов хищников на мирные русские грады и веси жил и действовал лихой татарский наездник Калат, или Калатар. До сих пор еще кое-где в казанских пределах сохранились сказания и легенды об этом витязе и его буйных и зверских подвигах.

Это был, по легендам и сказаниям, даже почти и не человек, а какое-то чудовище, нечто вроде Змея Горыныча. Он чуть ли не приходился сродни самому дьяволу, вида был страшного, силищи необычайной, и единая отрада его жизни заключалась в питье крови христианской. Как смрадный ураган, налетал он на православные селения, города и пригороды, и где промчится – там остаются за ним обезглавленные и порубленные тела человеческие. Никого не пощадит Калат, перебьет всех, за исключением красивых девок и молодых, а этих несчастных прикрутит одну к другой крепким веревьем и угонит вместе со всякою добычею в свое становище поганое. Обьестся он плоти человеческой, обопьется слезами горячими женскими, пресытит всячески плоть свою окаянную, да и подавит своих жертв, когда они уже ему не годны станут.

И опять несется, как ураган, опять губит православные головы, опять тащит за собою молодниц и девок да награбленные пожитки.

Послушать про те ужасы – так волосы дыбом на голове станут, и понятным, и ясным покажется, что тот Калат, или Калатар, был не простой человек, а порождение дьявольское, дьявольского рода и племени.

И помер, по сказанию, он не как человек, а разорвало его в одно мгновение, да так разорвало, как бомбу, – и ничего от него не осталось.

Но семя его поганое не пропало и не иссякло. Народил он тьму-тьмушую детей, и все эти калатарчата пошли в своего чудовищного родителя, только силы в них той уже не было. А начала убывать сила – и зверству их трудно стало проявляться.

Прошел век, другой, третий – и явился один из калатарчат к царю московскому, бил ему челом всем своим домом и именем, молил принять его под высокую царскую руку и обещался-клялся служить верою и правдою. Царь дал свое согласие, но потребовал от татарина, чтобы он крестился. И принял татарин со всем домом своим православную веру, и стал прозываться князем Калатаровым.

Как сам татарин, так и три его сына, и все десять внучат сдержали слово свое – служили царям московским верою и правдою. Служили они большие ратные службы и костью погибли в разные времена и в разных боях за царя, за Русь святую да за веру православную.

И цари за верную службу награждали их землями и угодьями, богатыми вотчинами.

Прошло еще немало времени – и от всего Калатарова рода остался один князь Николай Николаевич Калатаров, и ничего калатаровского уже в нем не было. Обучен он был изрядно, благодаря тому, что приходился крестником закадычному другу императрицы Елисаветы Петровны, Мавре Шепелевой, и через нее попал к Шуваловым. Служил он в гвардии и был по своему времени большим щеголем и дамским угодником. Излишнее щегольство и неустанная погоня за женщинами, несмотря на его хорошие в молодости способности, а также знание немецкого и французского языков помешали ему сделать карьеру на службе, – не о том он думал. Лет тридцати с чем-то он совсем даже вышел в отставку и жил себе припеваючи в своем богатом доме на Фонтанке.

Женился он в молодых годах на хорошенькой немочке, графине Бах, дочери приезжего немца, вышедшего в люди при Петре Великом и даже за добросовестность и осторожность награжденного графским титулом.

Родитель княгини Калатаровой, несмотря на свое графство и высокие занимаемые им должности, во всю жизнь оставался немецким солдатом. Ее мать, или, вернее, «мутерхен», до конца дней своих не покидала привычек и склада жизни немецкой мещанки, пуще всего на свете любила кухню, сама все мыла и чистила в доме, а зачастую и белье стирала ради отдыха и удовольствия. Но, несмотря на это, мутерхен», сама оставаясь тем, чем была по рождению, свою единственную дочку, Каролину, признавала настоящей барышней и графиней и всеми мерами заботилась о том, чтобы она была во всех отношениях «eine echle Gräfin». Она не обучала ее тому, что сама знала и любила, а обучала тому, чего не любила и не знала, но что было необходимо для настоящей графини. Каролина прекрасно играла на клавикордах и на арфе, очень мило пела немецкие романсы и русские песенки, изучила не только немецкую, но и французскую литературу, даже хорошо говорила по-русски.

Все старания «мутерхен» увенчались успехом. Графиня Каролина Бах вышла замуж за последнего потомка татарского чудовища Калата и превратилась в русскую богатую и знатную барыню. «Мутерхен» сделала еще большее: она вложила в душу своей Каролины нечто такое, чего обыкновенно не встречалось в больших русских барынях того времени. Каролина вышла очень серьезной, рассудительной и тактичной женщиной.

Она было полюбила от всей души своего красивого и блестящего мужа, но скоро убедилась, что представляла его себе во время сватовства и в первое время супружества совсем не таким, каким он был на самом деле. Все мечты ее разлетелись. Она увидела, что о своем личном счастье ей нечего и думать. Князь увлекся ее хорошеньким личиком – и только. Это личико скоро приелось, и он вернулся к холостым удовольствиям, в которых заключалась вся суть его жизни.

Княгиня Каролина поняла, что переделать его натуру она не в силах, что нельзя требовать от человека того, чего он не может дать и, собравшись с духом, поставила крест на всех своих юных, сентиментальных и нежных мечтаниях, приняла жизнь такую, какова она есть. Она предоставила мужу полную свободу, никогда его не ревновала, всегда делала вид, что ничего не слышит и не знает, на все смотрела сквозь пальцы, никогда ему не навязывалась, никогда к нему не приставала.

Она прекрасно вела дом, поддерживала связи и знакомства, завоевывала себе общее уважение и этим уважением к себе прикрывала проруху, наносимую родовому имени князей Калатаровых легкомысленным поведением князя. И она сделала то, что ее муж, несмотря на все свое легкомыслие и огромное самолюбие, любил и ценил ее, насколько мог, и признавал ее для себя единственным авторитетом.

Но главною целью жизни графини Каролины был ее ребенок. Он один только и был у нее – ее красавица дочка Елена. В эту девочку она положила все свои силы, все то, что в ней оттолкнул от себя муж, она отдала дочери. Она любила этого ребенка страстно, нежно, сентиментально. И в то же время она, как и ее покойная мать, но только еще с большим умением, заботилась об образовании дочери. Княжна Елена обучалась самым разнообразным предметам у лучших учителей, каких только можно было тогда достать в Петербурге. И в то время, когда на воспитание и образование молодых девушек в высшем русском обществе еще очень мало обращалось внимания, княжна Елена была самым блестящим исключением. Да и способностями ее не обидела природа, все ей давалось легко, все она усваивала как бы шутя. Если мать была хорошей музыкантшей – дочь ее превосходила. Если мать была знакома с иностранными литературами и интересовалась ими – дочь изучала их несравненно глубже и серьезнее. С каждым годом ее изумительная память обогащалась самыми разнообразными сведениями. Не только немецкий и французский, но даже и английский языки были для нее как бы родными – с такой легкостью и с таким совершенством она на них изъяснялась. Она прекрасно рисовала, у нее был сильный и приятный голос.

Красота девочки с каждым годом увеличивалась. Мать наслаждалась ею, восхищалась и до того обожала ее, что не видела в ней никаких недостатков.

Княжне Елене минуло шестнадцать лет, а о ее красоте, талантах и необыкновенном образовании уже начали говорить в обществе и в придворных сферах. Ее появления ждали с нетерпением.

Но тут случилось несчастье: княгиня Каролина простудилась, схватила горячку и через несколько дней умерла. Князь, уже состарившийся до срока, износившийся и как-то поглупевший, совсем растерялся, не знал как быть, что делать. Его дом сразу, в одно мгновение, превратился, подобно княгине, в покойника: вместе с собою хозяйка унесла душу своего дома, и он стал быстро предаваться тлению.

Княжна Елена, готовившаяся к своему вступлению в свет, жаждавшая блеска, успехов, торжеств всякого рода, в первые минуты почти обезумела, сама серьезно разболелась. Но она оправилась скоро. Ей был семнадцатый год. Она кое-как выдержала первые месяцы, пробовала стать хозяйкой на место матери, но это ей скоро надоело. В доме начали появляться многочисленные гости и между ними много и таких, каких покойная княгиня ни за что бы к себе не пустила. За княжной все ухаживали, нашептывали ей всякие комплименты. Она сразу попала в атмосферу поклонения и лести. Голова ее кружилась, в глазах рябило, но в то же время ей становилось весело, она забывала свою утрату, она начинала жить день за днем.

Наконец настало давножданное ею время – она в настоящем свете. Одна из ее родственниц, придворная дама, стала ее вывозить. Княжна Елена представлена императрице, обласкана ею. Княжна Елена загорелась яркой звездой на всех балах и собраниях. За нею толпа поклонников, толпа претендентов. Но она еще не думает о замужестве. Ей только семнадцать лет. Перед выездом на один из придворных балов вывозившая ее родственница таинственно объявила ей, что граф Зонненфельд из прусского посольства просил у князя ее руки. За этого жениха хлопочут очень многие и, по-видимому, этим делом заинтересовали даже императрицу.

Елена засмеялась громко, порывисто, совсем по-детски – одна уже мысль о подобном браке показалась ей нелепой и смешною. А между тем на балу она много танцевала с графом и к концу вечера, вдруг, в одну минуту, решила выйти за него замуж.

Граф Зонненфельд был молодой немец, длинный и белый, с молочного цвета глазами и большим носом с горбинкой. Его движения в одно и то же время отличались и важностью, и угловатостью. Он казался старше своих лет и поражал удивительной серьезностью и молчаливостью, под которыми скрывалось неизвестно что – чересчур осторожный ум или апатичная ограниченность. Вообще в нем не было ровно ничего, что могло бы привлечь сердце пылкой, богато одаренной семнадцатилетней девочки. А между тем она решила за него выйти. Почему? – она и сама не знала. Это был мгновенный каприз, и только.

Он немец – ее мать была немка. Но ведь сама она русская княжна, да и мать ее родилась в России и никогда не бывала за границей. Говорят, Петербург теперь несравненно лучше Берлина, а жизнь здесь веселее и роскошнее, особенно при дворе. А граф Зонненфельд увезет ее в Берлин или куда-нибудь в иную страну, куда его назначат. Это хорошо, она знает Петербург, а не знает за границу, и ей хочется туда ехать.

Одним словом, она решила, что будет графиней Зонненфельд, – так ей вдруг понравилось. Отец был доволен – партия оказалась хорошей: у молодого дипломата прекрасное состояние и очень влиятельная родня, он в близком родстве со многими из владетельных домов в Германии, он на хорошем счету у короля прусского.

Свадьбу отпраздновали после совершения всех формальностей с большой пышностью. Молодая чета представилась императрице, а затем граф Зонненфельд был вызван в Берлин. Графиня сделала прощальные визиты и скрылась с петербургского небосклона, проблистав на нем мгновение яркой звездой.

VI

Новобрачные на пути из Петербурга в Берлин. Их мчит добрый шестерик, запряженный в дормез гигантских размеров, представляющий собою чудо немецкого мастерства и немецкой практичности. Дормез этот безобразен на вид и топорен, но зато при первом же взгляде на него можно поручиться, что он вынесет какой угодно путь и какие угодно непогоды. В нем легко и с большим удобством может поместиться шесть человек. В нем не только графиня, но даже и граф, несмотря на свои жердеобразные ноги, могут спать вытянувшись во весь рост.

Днем дормез этот представляет из себя нечто вроде маленького будуара, а ночью превращается в спальню с ворохом перин и подушек. Под привычными и аккуратными руками графского камердинера Адольфа он мгновенно делается в столовую. В нем появляется стол, сервированный на два куверта. Из его таинственных помещений, ящиков и сумок выходят на свет всякие дорожные запасы и припасы.

Жирный Адольф, главным отличительным свойством которого являются налитые кровью глаза и сизый нос, с видимым наслаждением и с сознанием собственного достоинства прислуживает графу и графине. Затем, окончив все свои обязанности и снова превратив дормез из столовой в будуар, он проделывает утомительную эквилибристику, взбираясь своими тучными ногами в толстых шерстяных чулках на высочайшие и широчайшие козлы дормеза. Это восхождение и для более ловкого и худощавого человека крайне затруднительно, для Адольфа же оно с первого взгляда представляется совсем невозможным. Но он каждый раз побеждает все трудности, и графиня, если ей угодно отдернуть тафтяную занавеску переднего окна, может любоваться на его широчайшую спину, которая в течение целых часов не шелохнется и остается будто приросшею к козлам. Если графиня отдернет занавесочку с небольшого круглого окошечка, помещающегося в глубине дормеза, она может видеть свою камеристку, восседающую среди подушек, ящиков и баулов, в будке, приделанной к дормезу.

За экипажем господ поспешают еще четыре рыдвана, совсем уже почти бесформенных, похожих на что угодно и в то же время ни на что, но таких же прочных, как и графский дормез. В этих рыдванах помещаются всякие пожитки и остальная прислуга: две прачки, горничная, повар с поваренком и со всеми принадлежностями походной кухни и, наконец, егерь графа с любимой его собакой Неро.

В первое время весь этот поезд, вся обстановка путешествия занимают графиню и ей очень нравятся: ведь она никогда не выезжала из Петербурга и его окрестностей. Но уже на второй день путешествия и Адольф с его медвежьей ловкостью и сизым носом, и великолепный Неро, на остановках поднимающий восторженный лай, врывающийся в дормез, и изо всех сил старающийся лизнуть графиню в лицо, и все хозяйственные и практичные немецкие сюрпризы дормеза – все сумки, баульчики и прочие – все это мало-помалу начинает надоедать юной путешественнице. В ней появляется не то что усталость, но нечто, похожее на скуку. А скуки она до сих пор никогда не знала.

С каждым новым днем пути она притом же начинает чувствовать себя неловко, не по себе, и хотя она еще и не задается вопросом, откуда эта неловкость и скука, но если бы хорошенько и серьезно себя об этом спросила, то должна была бы ответить себе, что и то и другое происходит от ее спутника и собеседника.

Да, ей неловко и не по себе с графом, с мужем, которого она сама себе выбрала, с человеком, связанным с нею на всю жизнь. Ни о чем еще она себя не спрашивает, ничего не решает, но уже чувствует свою непоправимую ошибку. Этот человек, ее муж, ей совсем чужой, да и не только чужой, но он ей вовсе не нравится, он ей скучен, неприятен, его присутствие действует на нее подавляющим образом. Она не та, какая была всегда, она будто

играет роль, навязанную ей, неприятную, играет с вынужденным внешним спокойствием и с внутренним нетерпением скорее кончить и снова стать собою.

Граф ничего этого не замечает. Он не играет ровно никакой роли, напротив того, он сразу сбросил с себя всякую принужденность, он до последней степени доволен и по-своему весел. Эта веселость выражается в том, что он время от времени потирает свои красные, тонкие, с крючковатыми пальцами руки, как-то побрякивает и то и дело повторяет: «Ja wohl!»

Со своей юной подругой он предупредителен до последней степени. Он ежеминутно предлагает ей то то, то другое, берет ее маленькую белую ручку, повертывает ладонью вверх и нежно и долго целует в самую середину ладони сухими и холодными губами. Он подолгу глядит на полудетское прелестное лицо графини, на ее глубокие черные глаза, на ее горячие, полные здоровой юной кровью губы, на тонкий румянец ее нежных подернутых, будто персик, золотистым пушком щек, на капризный локон, выбивающийся из-под дорожного головного убора. Он глядит, а с какими мыслями и чувствами – этого не разберешь в его бледных, будто выцветших, будто оловянных глазах.

Он шепчет: «Mein Schatz, mein Herzchen!»

И опять побрякивает, и опять самодовольное «ja wohl» и опять потирание красных рук с крючковатыми пальцами.

Ничего еще не соображает и ни о чем не думает графиня, но уже эти красные руки, эти крючковатые пальцы, бесцветные глаза и длинный тонкий нос с горбинкой, «mein Schatz» и «mein Herzchen», а пуще всего ощущение его сухих, холодных губ на ее ладони и почему-то, еще того пуще, это самодовольное «ja wohl» ей противны и становятся все противнее, раздражают ее все больше и больше.

А между тем она инстинктивно не только от него, но от самой себя скрывает свои ощущения и впечатления и играет свою роль, то есть все терпеливо выносит, заставляет себя время от времени ему улыбаться, изредка и очень осторожно, по его требованию прикасаться своими губами к его сухощавой, выбритой перед нею Адольфом щеке. Но ей приходится делать большие над собою усилия, чтобы спокойно выносить его ласки...

Графиня Елена ищет развлечения в том, что может видеть из окна, в постоянно меняющихся картинах и сценах чужой, незнакомой ей жизни. Но час, другой, третий – и эта пестрота начинает утомлять ее, теряет весь свой интерес.

– J'ai sommeil! – шепчет Елена и откидывается на подушки в глубине дормеза.

– Schlaf, schlaf, mein Herzchen! – говорит граф, поправляя ей подушки.

Она закрывает глаза. Он глядит на нее несколько мгновений, наклоняется над нею с очевидным желанием поцеловать ее, но почему-то воздерживается, отодвигается к своему окну и сидит, весь вытянувшись, как-то выставив вперед свой горбатый нос и едва слышно напевая какую-то немецкую песню.

Вот графский поезд переехал границу. На немецкой земле граф как бы несколько ожил, в первую минуту даже нечто похожее на огонек мелькнуло в его молочных глазах. Он с особым усердием стал потирать себе руки и, наконец, не выдержав и, высунувшись в окошко, крикнул Адольфу:

– Nun, Adolph, das ist schon unser Land?

– Ja wohl, Excellenz, Gott sei gelobt! – радостным басом отвечал ему с козел Адольф.

Это естественное и хорошее проявление патриотического чувства господина и слуги не только не было оценено бедной Еленой, но даже тяжело на нее подействовало. У нее защемило сердце, почти так же защемило, как в тот день, когда она хоронила мать свою. Она вдруг после этих радостных немецких фраз почувствовала, что ее родина осталась позади, что она на чужбине и одна, совсем одна, что она пленница. Ей вдруг мучительно захотелось услышать звуки русского языка, хотя она и прежде-то не особенно часто на нем говорила и предпочитала ему французскую речь, уже почти всюду слышавшуюся тогда в окру-

жавшем ее высшем русском обществе. Немецкий язык, язык ее матери и бабушки, всегда ею любимый, бывший языком ее интимных бесед с матерью, показался ей теперь совсем чужим, неприятным, неблагозвучным, почти противным в устах графа и Адольфа. И не с кем ей было перемолвиться русским словом; даже ее камеристка, сидевшая в задней будке дормеза, была немка. Граф не знал ни одного русского звука и почему-то, как уже заметила Елена, даже относился к этим звукам презрительно. В первые дни пути, слыша какое-нибудь русское слово, он обращался к Елене, насмешливо поводил носом и, кривя рот в усмешке, спрашивал:

– Nun, nun, was bedeutet das? – и при этом, безбожно коверкая, повторял поразившие его слова.

– Aber, Gott, was für eine barbarische Sprache! – всегда заканчивал он.

Тогда Елена спокойно переводила ему слова, и ей и в голову не приходило обижаться на его насмешку над русским языком. Теперь же она в первый раз в жизни почувствовала себя русской.

Эта немецкая земля, земля ее мужа и Адольфа, земля ее бабушки, показалась ей не только чужою, но и почти ненавистной. Ей невыносимо всем существом захотелось назад, в Петербург, в родной дом, к прежней жизни. Она уже не в силах была играть свою роль. Она неудержимо, громко, почти истерически зарыдала.

Граф изумленно и как бы несколько тревожно взглянул на нее. Но тревога его тотчас же и прошла, осталось одно изумление. Он спросил ее, что с нею, отчего она плачет. Она ничего не ответила и продолжала рыдать.

Он спросил еще раз спокойным голосом, но очень настойчиво.

– Ах, да оставьте, оставьте меня, пожалуйста! – сквозь рыдания прошептала она, отстраняясь от него с ужасом и брезгливостью. Он медленно и аккуратно вынул из баула флакончик с ароматическим уксусом, положил ей его на колени, а затем отвернулся и сидел молча, вытянув длинные ноги и глядя в окошко.

Наконец рыдания ее стихли. Тогда граф обернулся в ее сторону и проговорил:

– Успокоилась, mein Herzchen? Ну и хорошо... так плакать и рыдать неизвестно из-за чего не годится для такой умной и образованной особы, как ты... Надеюсь, впредь таких странностей не будет...

Она не взглянула на него, ничего ему не сказала. Она всеми силами постаралась подавить в себе все свои ощущения и продолжать играть прежнюю роль. В ней поднялось новое чувство, еще не определенное, но сильное. Она сказала себе: «Я никогда не стану перед ним плакать...»

До Берлина оставалось два дня пути, и граф нашел, что настало время посвятить Елену во все, с чем она должна познакомиться в качестве графини фон Зонненфельд-Зонненталь. Он несколько часов, очевидно, приготавливался, потому что был крайне молчалив, углублен в себя. Затем он, наконец, приступил к объяснению. Он сделался еще деревянное, его голова с горбатым носом горделиво поднялась, и он начал мерным голосом и таким тоном, будто совершал какое-то священнодействие, будто вверял Елене глубокую, важную тайну.

Предварительно он объяснил ей, что она теперь уже не княжна Калатарова (Елена едва сдержала свое негодование, когда он безбожно и, очевидно, главным образом из презрения к «варварскому русскому языку» исковеркал ее родовое и особенно милое ей теперь имя) и что она должна навсегда отречься от прежних традиций, что она вступает в знаменитый дом графов Зонненфельдов, баронов Зонненталей и должна быть достойной носительницей этого славного имени. Он поспешил добавить, что такую, конечно, она и будет, ибо если бы он на это не надеялся, то не избрал бы ее себе в супруги.

Елена вспыхнула и едва удержалась, чтобы с прежней своей детской бойкостью не сказать ему, что для нее вовсе нет особой чести быть графиней Зонненфельд, баронессой

Зонненталь, что она княжна Калатарова, и не он ей сделал честь, избрав ее, а она ему – согласившись носить его имя.

Но она воздержалась и молча его слушала.

Между тем граф становился все торжественнее, и его нос поднимался все горделивее. Он объяснял жене всю историю своего древнего рода, перечислял в мельчайших подробностях все славные деяния своих предков, войны, в которых они участвовали, отличия, которые они получали. Описывал он с точностью учебника географии все поместья и замки, когда-то находившиеся во владении его рода. Он передавал ей историю всех знатных немецких фамилий, с которыми в течение пяти или шести столетий роднились Зонненфельды-Зоннентали...

Дормез останавливался, дверцы отворялись, Адольф, еще более покрасневший от родного воздуха, появлялся с завтраком, с обедом, с ужином. К дверцам почтительно подходил егерь, с громким лаем врывался Неро. Показывалось здоровое, улыбающееся, немецкое лицо камеристки, почтительно спрашивавшей Елену, не угодно ли графине что-нибудь приказать ей...

Граф останавливался на некоторое время, переговаривался ласково-повелительным тоном с Адольфом и егерем, ел и пил. Но едва захлопывалась дверца и дормез трогался в путь, снова начинался нескончаемый рассказ о Зонненфельдах-Зонненталах.

Елене казалось, что она присутствует на уроке истории и географии. Но так как этот урок продолжался более суток, то, несмотря на всю понятливость и способность ученицы, он стал невыносимым. У нее просто голова туманилась от всех этих неинтересных подробностей чуждой для нее и непонятной жизни. Все эти графы, бароны и фюрсты появлялись перед нею как надоедливые марионетки, прыгали, кривлялись, жили в своих замках, мирились и ссорились между собою, вступали в браки, рожали детей, умирали – и исчезали бесследно, тотчас же забывались ею...

Между тем учитель был неумолим: замечая, что она начинает его рассеянно слушать, он останавливался и задавал ей вопросы, заставляя ее доказать ему, что она все понимает и помнит. Если она отвечала невпопад, он терпеливо начинал повторять и говорил ей, что ей необходимо в точности знать всю историю своего рода, что иначе он не может даже представить ее своей многочисленной родне. А он желает, чтобы все ее полюбили и убедились, что его выбор удачен...

Наконец, уже подъезжая к самому Берлину, граф окончил урок и сидел несколько утомленный, но довольный, с сознанием человека, благополучно исполнившего важную обязанность.

Оживилась и Елена. Урок был окончен; все графы и графини, бароны и баронессы сразу вылетели из ее головы. Это долгое, томительное путешествие кончалось. Графиня стала сама собою, то есть живым, беспечным ребенком. Она вдруг позабыла все, что налегло на нее за эти дни как давящая тяжесть, как туман, как мрак.

Она думала о том, что вот она приедет в Берлин и для нее начнется новая жизнь. Она знала, что попадет прямо ко двору, в ней заговорило тщеславие, жажда блеска и поклонения. Она твердо верила, что очарует там всех, начиная с короля и кончая многочисленной новой роднею, что она будет занимать первое место везде и всюду. Ведь она знает, что она красавица, ведь все говорили ей, что она поет, как ангел, и даже вот граф сравнил как-то игру ее на клавикордах с игрою святой Цецилии. Она умна, она очень образованна, много знает. Ведь это все правда, и все будут восхищаться ею, ее ожидает веселье. Она, как дитя, уже начинала предвкушать это веселье. Она поверила в него – ведь ей так необходимо было в него поверить.

VII

Поздним дождливым вечером подъехали новобрачные к дому графов Зонненфельдов, и с первых же шагов Елену ждало разочарование. Она ожидала, судя по рассказам мужа, встретить чуть ли не царственное великолепие и роскошь. А между тем перед нею в ненастной мгле какое-то темное, унылое и небольшое здание.

Отворяется тяжелая железная дверь, с фонарем и с большою связкою ключей в руках на пороге появляется маленькая, бедно и смешно одетая, старушка-экономка. Оказывается, что родители графа в своем родовом поместье. Дом пуст. Старушка искоса и недоуменно глядит на молодую хозяйку, делает самые уморительные книксены перед нею и графом, что-то бормочет, целует у Елены руку. Наконец она уже более явственно объявляет, что, судя по полученному письму, она ждала молодых хозяев не ранее как через неделю и что поэтому, пусть уж ее извинят, в доме не совсем готово. А, впрочем, она сейчас же распорядится ужином и приготовит «экцеленцам» их спальню.

Старушка хлопает в ладоши, пронзительно призывно кричит. Наверху старой каменной лестницы показываются две заспанные немецкие физиономии. Двери хлопают. Какой-то беззубый, ветхий старик в истасканной ливрее приносит восковую свечу в тяжелом шандале. При бледном мерцании этой свечи да фонаря старушки Елена, опираясь на руку мужа, взбирается по ступеням лестницы.

Они проходят несколько небольших комнат, затхлых и холодных, и останавливаются в столовой.

– Ja wohl! – довольным тоном объявляет граф. – Wir sind zu Hause!

Он дома! А она? Где она?

Она почти падает на жесткое, как камень, и, как камень, холодное, старое кожаное кресло и тоскливо оглядывается.

Довольно обширная, но невеселая комната с узенькими окнами, с каменным полом. Выкрашенные в унылый цвет стены, старинная мебель, неуклюжая, запыленная, тяжелый огромный резной буфет. В глубине комнаты – большой камин, у которого теперь возится беззубый старикашка, раздувая огонь старыми мехами. Граф шагает из угла в угол на своих длинных ногах. Старушка, позвякивая ключами, семенит за ним и что-то ему докладывает, чего Елена не слушает. Граф все повторяет: «Ja wohl!» и в свою очередь что-то приказывает старушке.

Вот она скрылась за дверью. Граф подходит к жене и берет ее за руку.

– O, wie bin ich zufrieden, kuss mich, mein Schatz!.. Да поцелуй меня, твоего мужа, в этом старом дедовском доме.

Законное желание, да и слова хорошие. Но Елена вздрогнула всем телом, целуясь с графом. Ей просто становилось жутко в этом холодном, неприветном доме. На нее находил почти панический страх.

– Как холодно! – тоскливо прошептала она.

Граф поспешно вышел, вернулся с теплой шалью и закутал ею жену. Но она все дрожала.

– Я велел развести большой огонь в спальне – согреешься... Дом пустой, нетопленный, нас не ждали, – объяснил он.

Старые часы в углу столовой пробили полночь, и каждый их звук тоскливо и больно отдавался в сердце Елены.

Наконец подали ужин. Граф ел с аппетитом и при этом изрядно выпил из принесенной сияющим и лоснящимся Адольфом старой бутылки.

Елена не могла ничего есть. Однако муж почти силой заставил ее выпить вина и объявил ей, что это не вино, а настоящий нектар, старое рейнское, какого и в королевском погребе уже немного осталось.

Чудесная душистая влага пробежала теплом по членам графини Елены и несколько согрела ее и оживила.

Окончив ужин, граф взял жену под руку и своей торжественной, деревянной походкой повел ее в спальню. Тут Елена застала старушку с ключами и свою камеристку, убиравших комнату.

Камеристка мгновенно скрылась, но старушка не спешила уходить. Она стояла со свечой в руках, тихонько побрякивая своими громадными ключами. Ее сморщенное, комичное, какое-то лягушачье лицо сияло видимым удовольствием. Маленькие, слезящиеся глаза ее любопытно перебегали с графа на графиню и обратно.

Между тем граф вытянулся во весь рост, горделиво поднял голову и застыл в этой торжественной позе. Свеча, дрожавшая в руке старушки, осветила снизу его лицо, изменяя его черты и делая их крайне некрасивыми и в то же время смешными. Вот рука графа поднялась, не сгибаясь протянулась вперед, и длинные красные пальцы указывали Елене на что-то.

Она взглянула по этому указанию и увидела огромную старинную кровать под пыльным тяжелым балдахином. Она сразу и не поняла, что это такое. Ее взгляд уловил только горделивое, самодовольное и торжественное выражение в лице мужа и смешную некрасивость этого лица.

Вдруг старушка начала усиленно приседать и желать молодым господам доброй ночи. Теперь не только лицом, но и приседаниями, и звуками, вылетающими из ее беззубого рта, она сделалась совсем похожей на лягушку.

Она пятилась к двери и все приседала, и все квакала. Наконец она скрылась и заперла за собою дверь. Елена не нашла даже в себе силы заняться как следует своим туалетом, в первый раз в жизни чувствуя себя совсем разбитой, ослабевшей. Она мельком оглядела комнату, такую же унылую и выцветшую, как и все в этом доме, такую же холодную, несмотря на огонь, ярко пылавший в камине. Она подошла к кровати и, быстро раздевшись, зарылась почти с головою в мягкие перины. Она лежала, закрыв глаза, просто боясь о чем-нибудь думать. Заснуть бы скорее!

Вот и граф разделся и тоже, как и она, зарылся в перины.

– Вы спите, графиня?

Она ничего не ответила.

– Это родовая наша кровать, она служила уже четырем поколениям нашего рода! – объявил граф, зарылся еще глубже в перину и мгновенно захрапел.

Елена открыла глаза и смотрела, как от пламени камина унылая комната озаряется неровным, вспыхивающим светом и потом меркнет, как от всех предметов ходят длинные, мерцающие тени. Минуты проходят за минутами, а она все не может заснуть. Вот теперь по всей комнате ей слышится какой-то странный шорох... и вдруг она вспоминает слова графа: «Четыре поколения спали на этой кровати!» И ей начинают мерещиться эти чужие, давно умершие немецкие графы и графини.

Ей чудится, что эти страшные мертвецы подходят к ней и глядят на нее с изумлением и вот-вот сейчас они сдернут с нее свои перины и сгонят ее с их родового места. У нее уже зубы начинают стучать от страха. Она всеми силами отгоняет от себя эти призраки. Наконец их нет, они исчезли бесследно, даже странный шорох в комнате прекратился. Но теперь ей противна, ужасна и страшна эта самая кровать чужих умерших людей. Нет, она ни за что не будет спать на этой кровати и жить в этом страшном мрачном доме!

Наконец она заснула и проснулась только тогда, когда муж разбудил ее, объявив, что очень поздно, что давно ее ждет завтрак.

При свете дня дом графов Зонненфельд уже не показался Елене страшным, но зато она, обойдя его, разглядела еще яснее всю его невзрачность. Она не оценила своеобразной художественной печати старины, лежавшей на этом старом доме, который был так непохож на то, к чему она привыкла с детства, чего она ожидала.

Но ведь все это можно обновить, переустроить, сделать так, как она хочет; ведь достаточно средств на это у самого графа, да и, наконец, у нее – она не бесприданница. Она постаралась поскорее перейти к мечтам о веселье, которое ее ожидает. Она весь день с помощью своей камеристки Луизы разбиралась в привезенных из Петербурга вещах и нарядах и спросила мужа, скоро ли он представит ее королю и всем родным.

Он отвечал, что скоро, и через несколько дней исполнил свое обещание.

Но каждый новый выезд разочаровывал Елену. Она везде встречала все чужое и неприятное ей. Ее всюду встречали ласково и оказывали ей все знаки внимания. Но нигде не находила она того, о чем мечтала: ни блеска, ни роскоши – везде чрезмерная простота и смешные, как ей казалось, странности.

Почти то же впечатление ожидало ее и во дворце. После блеска и великолепия Екатерининского дворца, двор короля Фридриха казался очень жалким и бедным. Да и сам король как-то не походил на короля. Он встретил графа Зонненфельда весьма ласково и фамильярно. Он обласкал и Елену, даже взял ее за подбородок и сказал какую-то двусмысленность, на которую граф почтительно усмехнулся и которую Елена не поняла. Король задал молодой графине несколько быстрых вопросов о Петербурге, об императрице, о цесаревиче Павле Петровиче, а затем выразил ей, что он очень одобряет выбор Зонненфельда и надеется, что новая немецкая графиня скоро станет ручною и сделается одним из лучших украшений его двора.

– Но графиня очень молода, – прибавил он, – и должна быть внимательной ученицей своих почтенных родственников.

Он назвал фамилии этих родственников. Елена ответила, что она уже имела удовольствие с ними познакомиться. Больше ей не пришлось сказать ничего. Король простился с нею улыбкой, похожей на гримасу, и исчез.

VIII

Прошло пять лет. Графиня Елена Зонненфельд фон Зонненталь из прелестной девушки превратилась в красавицу женщину, которой нельзя было не залюбоваться. Природа наделила ее большим здоровьем, и это здоровье было в состоянии выдержать упорную борьбу с невзгодами жизни. Благодаря этому здоровью она и развилась роскошно и пышно. Статные и крепкие формы ее прекрасного тела указывали на богатую силу молодости. Здоровый и нежный румянец покрывал ее щеки, только глубокие черные глаза ее часто появлявшимся в них задумчивым, грустным выражением говорили о том, что под счастливой и здоровой внешностью, под этой блестящей поверхностью скрывается в глубине вовсе не счастливое и не довольное сердце.

Граф Зонненфельд за эти годы изменился гораздо меньше. Он только стал еще суше, его тонкий нос с горбинкой выступал еще больше и даже как будто немного скривился на сторону. Бесцветные глаза его по-прежнему не выдавали ни мысли, ни чувства. Он по-прежнему был загадочен и молчалив. Его довольное, торжествующее «ja wohl!» раздавалось значительно реже и значительно реже потирал он свои красные руки.

Решась жениться на княжне Калатаровой, граф поступил рассудительно и умно. Он, как ему казалось, всесторонне обдумал этот поступок. Граф был настоящий прусский патриот, всецело преданный своему королю. Дела Пруссии были его делами, королевские планы и цели – его планами и целями. Предназначенный действовать на дипломатическом поприще и посланный в Петербург, он думал только о том, как бы способствовать тесному и прочному сближению Пруссии с Россией и извлечь из этого сближения как можно больше выгод для своего отечества. Он решил, что, женись на русской девушке высшего круга с большими связями в петербургском обществе и при дворе, он легко может достигнуть именно того, чего не мог достичь своими собственными силами. Он будет в состоянии оказать своей родине большие услуги. Княжна Калатарова была именно будто создана для того, чтобы стать его женою. Единственно, что минутно смутило его, – это то обстоятельство, что она иностранка и не принадлежит к его вероисповеданию. Но он тут же соображал, что ведь в ней много немецкой крови. К тому же она почти еще ребенок – он временно удалит ее из России и перевоспитает. Он превратит ее в настоящую немку и лютеранку. А когда это перевоспитание будет окончено, когда она всецело будет принадлежать ему, его родине и семье, проникнется его интересами, тогда он вернется с нею снова в Петербург и с ее помощью будет служить своему королю большие службы. Она явится для него незаменимой помощницей, из нее выйдет исключительная женщина, одна из тех женщин, которые держат в своих руках тонкие нити политических интересов и играют большую роль в судьбах государств. Она так молода, она еще ребенок, а между тем о ее удивительной образованности, о ее талантах уже все говорят. Довоспитать ее, доразвить и как следует направить – это дело мужа.

Так рассуждал немецкий дипломат, и эти рассуждения казались ему непогрешимыми. Их одобрял сам король, от которого у графа не было тайн.

Но то, что было так ясно и просто, что казалось таким легким, вышло неисполнимым. Юная графиня решительно не оправдала возлагавшихся на нее надежд и ожиданий. В программе графа, ловко и последовательно составленной, не хватало одного параграфа, который должен был бы гласить, что все это так непременно и будет, если... если графиня будет любить своего мужа. Граф считал этот параграф излишним. Как же она может не любить его – разве он не достоин любви? Он, честный и хороший человек! В его прошлом с тех самых пор, как он себя помнит, не было ровно ничего, за что бы ему приходилось краснеть. Он честно и гордо носит свое старое знаменитое имя. Он никогда, даже в первой юности, не позволял себе никаких особенных увлечений. Никто никогда не видал его предающимся

грязным страстям. Он не расточал своего имущества на карты и женщин, а напротив, всеми мерами заботился об этом имуществе и экономией увеличивал свои доходы. Так делали его предки, прадед, дед и отец. Оттого-то Зонненфельд фон Зонненталь – одна из самых богатых фамилий в Пруссии.

Правда, у него есть пристрастие к вину, к старому рейнскому вину, но опять-таки никто не может сказать, что видел его пьяным. Это было бы недостойно графа Зонненфельда. Весь род их отличался трезвостью. Никто никогда не видел тоже и гнева графа. Он строг, но справедлив с прислугой и подчиненными, и за это его должны уважать – и уважают. Он терпелив и рассудителен, ни при каких обстоятельствах не позволяет себе выйти из аристократического спокойствия и унизить так или иначе свое достоинство. Он безупречный муж, предан и верен жене своей. Он никогда не позволит себе взглянуть на другую женщину. Все Зонненфельд фон Зоннентали были верными и примерными мужьями, а имея такую красавицу жену, это и нетрудно. К тому же граф и в юности не много думал о женщинах. Он неспособен на страстную любовь, на слепое увлечение, он даже не совсем точно знает, что такое влюбленность. Да и к чему все это? Ведь он не поэт, а дипломат. Излишняя страстность и увлечение только бы испортили его жизнь, его деятельность. Притом же пламя, которое чересчур вспыхивает, быстро и сгорает, а он теплится маленьким огоньком, но этого огонька хватит надолго.

Самое первое время своей женитьбы он восхищался красавицей Еленой, потому что имел глаза.

Красота Елены даже минутами возбуждала его холодное воображение, но он скоро себя успокоил, скоро охладился, и графиня перестала быть для него соблазнительной женщиной, превратилась в красивую законную жену, которая должна быть ему близким существом и по обязанности, и по собственному желанию. Он дорожил ею, потому что она его жена, и еще больше дорожил, благодаря тем целям, какие соединял со своей женитьбой.

Увидя, что с женой нелегко ладить, что у нее есть много капризов и вообще таких свойств, каких он почему-то не ожидал и каких, наверное, не было бы в его жене, если бы он женился на своей соотечественнице, он смутился, даже вознегодовал внутри себя. Но затем решил, что она еще ребенок, избалованный ребенок, что хотя она и очень образованна, но ведь воспитана «там»... Он мысленно презрительно подчеркивал это слово. Тем более, значит, нужно удалить ее на первое время от всего прежнего и серьезно и осмотрительно заняться ее подготовкой. Ему казалось, да так оно и было, что он сделал все от него зависевшее для достижения своей цели. Он пошел на все уступки и всячески баловал жену; ее детские капризы переносились им терпеливо, ее странные требования исполнялись...

Два года прожили они при дворе Фридриха, и жизнь их была вовсе не такой, к какой привык граф. Молодая графиня все перевернула по-своему. Старый дом Зонненфельдов быстро преобразился – в него нахлынула чрезмерная роскошь. Да и внутренний домашний склад жизни оказался совсем не немецким, не патриархальным.

У графини были свои собственные комнаты, она даже наотрез отказалась от общей спальни, от страшной и противной для нее старинной кровати дедов и бабок графа. Она свила себе в старых, залежавшихся стенах Зонненфельдовского дома свое собственное гнездышко, где если и не было столько тепла и света, сколько ей хотелось, но где все же она устроилась более или менее по своему вкусу.

Все изумлялись. Немецкие дамы даже приходили в негодование, а граф оставался неизменно спокойным, потирал руки и говорил: «Ja wohl!»

В эти два года придворной немецкой жизни Елена сделала все, чтобы жить спокойно и весело, но не достигла ни того, ни другого. В эти два года то, что во время пути из Петербурга в Пруссию она только бессознательно чувствовала, теперь было во всех мельчайших подробностях ясно осознано ею. Она не только не любила своего мужа, но он был ей даже

антипатичен, и эта его антипатичность временами действовала на нее болезненно и мучительно. Только его податливость и свобода, ей предоставляемая, только холодность его темперамента дали ей возможность кое-как выносить его. Не будь всего этого – она дошла бы до отчаяния.

Но он все же ей был до такой степени тяжел и неприятен, что она капризно и мучительно возненавидела даже все, что он любил, что было ему близко и дорого. Она уже не могла рассуждать и чувствовать спокойно и беспристрастно. Немецкая жизнь, свойства и особенности немецких людей, с которыми у нее все же было много общей крови, при других обстоятельствах, при любимом муже, вероятно, пришлись бы ей по нраву, и то, на что надеялся граф, наверное бы, случилось: она превратилась бы в немецкую графиню. Теперь же это стало невозможным. Она капризно ненавидела все немецкое, ненавидела всех этих графов и графинь, баронов и баронесс, с которыми ей приходилось ежедневно встречаться, она возненавидела даже самого короля, несмотря на то, что он был неизменно почти отечески ласков с нею и время от времени навещал дом их. Он еще не отказался, точно так же как и граф, найти в ней удобное и полезное орудие для достижения некоторых важных политических планов в близком будущем.

Эти королевские надежды создали ей исключительное положение при дворе. Они же не допустили сразу выразиться всей той неприязни, негодованию и зависти, которые к ней сразу почувствовали ее новые немецкие родственницы и, вообще, почти все придворные дамы. А неприязнь эта, хоть и глухая и затаенная, но была велика. Елена отлично понимала это и отвечала на нее искренним презрением.

Она достигла своего, она блистала, первенствовала, была окружена всеобщим вниманием, а также поклонением, хотя почтительным и почти безмолвным, блестящей придворной молодежи. И она старалась жить всем этим. У нее выдавались веселые минуты, маленькие торжества. Но это нездоровое веселье ее только портило – она приучилась издеваться над людьми, злить чопорных немецких дам и девиц. А в конце концов все же оставались тоска и скука, оставался нелюбимый, невыносимый муж.

Графиня много читала, продолжала свое художественное и литературное образование. Иногда по целым дням не отходила она от палитры и кистей или от музыкального инструмента. Это было ей в некоторую помощь, но ненадолго. Она все сильнее и сильнее скучала, у нее появились мало-помалу настоящие капризы, действительное раздражение. Долготерпеливый граф был теперь решительно недоволен ею. Ее перевоспитание, ее обращение в немецкую патриотку не удавалось, затягивалось...

Вот и король как-то в беседе с глазу на глаз хлопнул его по плечу и сказал:

– Nun, mein Keri, es geht nicht gut? Кажется, мы с тобою ошиблись?

Он только это и сказал, но граф отлично понял, в чем дело. Он вернулся к себе мрачным и целых два дня не видался с женою.

Но тут случилось следующее.

Король никому, кроме графа, не высказывал своей мысли. Граф со своей стороны, конечно, никому не поверял о своем разговоре с королем. Между тем у стен оказались уши, или, вернее, у придворных немецких людей оказалось необыкновенное чутье. Не прошло и месяца, как графиня заметила в придворных дамах большую перемену в обращении с нею. Не прошло и двух месяцев, как ей со всех сторон была объявлена открытая война, как услужливые люди то и дело передавали ей о том, что говорят о ней дурного там-то и там-то.

Наконец и сам граф счел нужным объясниться с женою. Невозмутимый и спокойный, как всегда, с почти неподвижными глазами и застывшим выражением в лице, он, подбирая самые вежливые выражения, объявил жене, что он недоволен ею и очень был бы рад, если бы она изменила свое поведение.

Графиня, не зная за собою ничего дурного, зная за собою только то, что она чересчур терпелива, что она слишком томится и страдает, что она лишена света и воздуха, возмутилась и потребовала от мужа с горящими почти ненавистью глазами, чтобы он не смел оскорблять ее.

Он немного изумился, пожал плечами, а затем таким же спокойным тоном, как и начал, произнес:

– Я ровно ничем не оскорбил вас, графиня, да я и не могу вас оскорбить, ибо я ваш муж, я забочусь только о вас, и повторяю, поведение ваше мне не нравится. Хотите знать, что именно мне не нравится, скажу: вы слишком легкомысленны, вы забываете ваше достоинство, забываете, что вы моя жена и что ваше имя и положение вас ко многому обязывают. Вы недостаточно уважаете тех людей, которых обязаны уважать. Вы слишком фамильярны с людьми, которых обязаны уважать. Наконец, мне очень тяжело говорить это, и я никогда не думал, что мне придется это говорить, – вы слишком свободны с мужчинами... вас всегда окружает толпа молодежи...

Он хотел было прибавить еще что-то, но замолчал, пораженный выражением ее лица, густой краской, прилившей к щекам ее, и страстностью, с какой она поднялась и остановилась перед ним.

– Что?! – прошептала она, и негодование и злоба звучали в этом шепоте.

Но вдруг она сделала усилие над собою, спокойно вернулась на свое место и презрительно усмехнулась.

– Нет, на вас решительно не стоит сердиться! – с таким неподражаемым презрением произнесла она, что даже ему стало неловко. – Я не уважаю людей, которых должна уважать? Но почему я их должна уважать? Я этого не знаю! Я фамильярна с ними, но я не понимаю даже, что вы подразумеваете под этой фамильярностью... или...

Она на мгновение остановилась, но затем спокойно продолжала:

– Я неприлично веду себя с мужчинами! Граф, подумайте, что вы говорите... подумайте хорошенько! Ах, Боже мой! – рассмеялась она. – Недостает того, чтобы вы начали ревновать меня... к кому?!

Граф беспокойно шевельнулся в своем кресле и гордо поднял голову.

– Я... ревновать? – произнес он своими сухими губами. – Я вам не говорил этого и никогда не скажу. Граф Зонненфельд не может ревновать свою жену, и жена графа Зонненфельда никогда не может так низко пасть, чтобы подать повод к ревности.

Она хотела было зло улыбнуться, но не могла. В словах графа прозвучало что-то новое, какая-то незнакомая ей сила. Даже сама его почти невыносимая для нее фигура, его лицо с горбатым, покосившимся на сторону носом и бесцветными глазами – все это вдруг преобразилось. Она никогда его таким не видала. И во всяком случае он показался ей так все же интереснее.

Однако прошло мгновение – и он снова превратился в прежнего графа.

Он встал и тихо сказал ей:

– Нет, ты не так поняла меня. Я пришел вовсе не для того, чтобы ссориться с тобою. Подумай, мой друг, хорошенько о том, что я говорил и, может быть, ты сама увидишь и почувствуешь, что я прав.

– Я вижу и чувствую одно! – воскликнула графиня. – Я вижу и чувствую, что умираю от тоски и скуки!

И она залилась слезами, что с нею не было с самого переезда через русскую границу.

IX

Граф не мог понять причины тоски и скуки жены. Чего ей недостает? У нее, кажется, есть все, чего только может пожелать женщина! Правда, ему мелькнула было мысль, что она тоскует по Петербургу, но он сейчас же и отогнал эту мысль.

В таком положении и настроении, в каком Елена теперь находилась, нечего было и думать везти ее в Россию. Она не только не принесет ему никакой пользы, но может даже причинить и большой вред. Он все еще не хотел отказываться от своих надежд и планов и, особенно после слов короля, ему непременно нужно было доказать, что «они» не ошиблись. Ведь если он так ошибся – значит, он несостоятелен, а с этой мыслью он ни за что не хотел примириться.

«Она, верно, нездорова», – наконец решил он. Она свежа, полна, но все же он подмечал в ней порою некоторые странности, как бы утомление. Да и самое ее отдаление от него, ее холодность, все, на что он до сих пор не обращал внимания, он теперь приписывал болезни.

Наконец, ведь есть еще одно очень важное обстоятельство: у них до сих пор нет детей, а между тем для него необходим новый продолжатель рода Зонненфельдов фон Зоннен-таль. И это обстоятельство он также приписывал ее болезни, себе он не приписывал ничего. Он собрал лучших докторов. Но доктора в один голос решили, что у графини нет никакой болезни, хотя и существует, очевидно, некоторое расстройство. Ей нужна перемена, нужна спокойная жизнь вдали от придворного шума, деревенский воздух и спокойствие должны произвести на нее самое лучшее действие.

Граф даже удивился – как это сам не догадался об этом. Он объявил жене, чтобы она собиралась в дорогу, что они едут в замок Зонненфельд к его родителям. Елена выказала при этом известии некоторое удовольствие. Ей так надоел этот двор. Она сама почувствовала, что ей необходима перемена, все равно какая.

«Да, под влиянием моей доброй матери я, наконец, достигну всего!» – подумал граф и, как в лучшие дни, самодовольно потер свои красные руки и громко воскликнул «ja wohl!»

Он взял отпуск. Они в Зонненфельде. На этот раз старинный замок среди густого, векового парка понравился Елене. В первый год своего замужества она ездила сюда на две недели для того, чтобы представиться родителям графа, но то было зимой. Теперь же замок производил совсем иное впечатление. Весна была в полном разгаре.

Старушка графиня встретила невестку очень мило. Сын уже сообщил ей, что он ждет от нее материнской помощи, что он намерен ей поручить жену и надеется, что своим добрым влиянием она сделает из молодой женщины достойную графиню Зонненфельд. Он не жаловался на жену и не вооружал против нее мать. Он вообще никогда и ни на что не жаловался и никому ничего не поверял из своей внутренней жизни.

Старая графиня с большим удовольствием готова была приняться за предложенное ей сыном дело. Она находила, что с этого ему следовало бы начать. Два года упущено! Елена еще так молода – ей всего только двадцатый год... Конечно, очень дурно, что она иностранка, но все же ведь в ней немецкая кровь – это обстоятельство примиряло графиню с невесткой. Елена почувствовала в старушке доброту и ласку и сердечно отозвалась на них. Она утомилась от своего душевного одиночества и отсутствия в окружавших ее людях искреннего к ней участия и ласки. Что касается старого графа, то он был почти уже не человеком. Он плохо видел, совсем оглох и, видимо, впадал в детство. Да и лет ему было много – около восьмидесяти. Когда-то он играл видную роль при дворе. Он очень поздно женился, он вырастил и устроил единственного своего сына, а затем почувствовал приступы старости и болезни и ушел от всяких дел, ушел на покой в свой родовой замок.

Первое время в деревне Елена отдыхала от городской жизни и, видимо, становилась спокойнее. Она почти не отходила от старой графини, когда была дома. Но она много гуляла по тенистому парку, часто делала большие поездки по довольно живописным окрестностям то в экипаже, то верхом. Она пристрастилась к верховой езде. Наконец, у нее был с собой запас книг, ее краски и полотно, ее музыкальные инструменты. В деревенской тишине она мало-помалу успокаивалась от злых раздражающих чувств, волновавших ее при дворе, от маленьких интриг и сплетен, от недружелюбия и зависти. Она даже заинтересовалась хозяйством своей свекрови, перезнакомилась со всеми животными и птицами, наполнявшими замок.

Но долго эта тихая, однообразная жизнь не могла удовлетворять ее. Прежде всего надоели животные и птицы. Лучшие виды окрестностей примелькались, поездки стали казаться утомительными. Всякий красивый уголок парка был уже воспроизведен на полотне ее быстрой и смелой, хотя несколько небрежной кистью. Книги перечитались. Ночи стали темнее; густая листва парка начала желтеть и осыпаться...

Между тем отпуск мужа кончился; граф должен был вернуться ко двору. Он предложил ей остаться еще некоторое время с матерью.

Хотя осень в деревне, в этом тихом уединении замка, с каждым днем терявшего свою привлекательность, и не улыбалась ей, но там ведь, во всяком случае, было еще хуже. А главное – он уезжает; она не будет его видеть, не будет чувствовать его присутствия; ведь это их первая разлука! Она с радостью согласилась.

Граф перед отъездом имел краткое объяснение с матерью: он просил сделать его жену такой, какою она должна быть. Старушка кивнула головой и проговорила: «Будь спокоен». Граф уехал полный надежд, а графиня-мать тотчас же приступила к исполнению своей задачи. Ненастные осенние дни, невозможность для Елены выходить и выезжать – все это само собою тесно сближало старушку с молодой женщиной. Теперь они по целым дням были неразлучны. Старая графиня взялась за дело осмотнительно, но все же Елена очень скоро заметила, что попала в ученицы, что ей дают уроки с утра до вечера, что ею довольны, хотят ее переделать, хотят сделать из нее именно такую немецкую даму, на каких она уже довольно насмотрелась и над какими в душе уже даже слишком много насмеялась.

Вследствие таких открытий мало-помалу исчезло ее искреннее и доброе отношение к свекрови. Она стала подмечать в ней такие смешные стороны, такие непонятные ей черты, каких до сих пор не замечала. В первое время назидательные беседы старой графини казались ей только забавными, но скоро они сделались для нее только утомительно-скучными.

Елена начала употреблять всевозможные хитрости, чтобы избежать свою однообразную собеседницу. Но старушка ее всегда перехитряла и умудрялась всегда быть тут, при ней. Она увлеклась исполнением своих материнских обязанностей, потеряла всякую сообразительность, всякий такт и, как старый дятел, монотонно и неумоимо долбила да долбила...

Елена выказала большое терпение и большую сдержанность – качества, наследованные ею от матери и бабки. Но чем больше она терпела, чем больше сдерживалась, тем сильнее ее давила тоска, и ей становилось еще хуже, чем там, при дворе. Она почти задохлась. Даже ее крепкое здоровье стало по временам изменять ей. Она побледнела и похудела.

Между тем граф писал ей, что по поручению короля отправляется в Швецию и вернется не ранее как через четыре или пять месяцев. И писал он это накануне своего отъезда...

После этого письма прошло месяца два. Елена уже окончательно возненавидела свекровь, возненавидела всем существом своим. Да и не одна свекровь стала ей ненавистной, ей теперь представлялся отвратительным весь этот старый замок с его давящим однообразием, с его почтительной и преданной прислугой, с его животными и птицами. Она чувствовала, что если останется здесь долее, то уже не выдержит, что не сегодня, так завтра все это

кончится резким и грубым разрывом со старухой. Притом же она чувствовала себя действительно больною.

Она объявила старой графине, что больна и должна немедленно поехать в Берлин.

Старушка перепугалась и предлагала выписать каких угодно докторов. Поездку же Елены в Берлин она считала невозможной, так как не могла сопровождать ее, не могла оставить мужа.

Но Елена настояла на своем и к великому неудовольствию свекрови уехала в Берлин... Доктора должны были сознаться, что ошиблись: деревня не поправила здоровья молодой графини, а даже, видимо, ухудшила. Три месяца Елена провела почти в полном уединении, никого не посещая и редко кого принимая.

Наконец граф вернулся из Швеции, очень недовольный, хотя, видимо, и спокойный. По обыкновению он сосредоточенно выслушал заключение королевского лейб-медика, состоявшее в следующем:

«Здесь климат вреден для графини, лечить ее нечего, ей нужно как можно больше впечатлений. Если она не поправилась в деревенском уединении, то должна поправиться на юге».

Граф думал три дня. Ведь, однако, она жена его, ведь, однако, он непременно должен иметь сына и наследника. К тому же он все еще, уже почти с болезненным упрямством, не хотел признаться в своей ошибке и упасть в собственных глазах.

Он взял дипломатическое поручение в Вену, а затем в Италию, и уехал с женою.

X

Предсказание лейб-медика на этот раз оправдалось. Здоровая природа Елены, ее молодость одержали победу над нервной слабостью, над тяжелыми следами долгой тоски, раздражения и недовольства жизнью. Прекрасный климат, разнообразие новых впечатлений заставили молодую графиню восторгаться. Она инстинктивно любила жизнь, хотела жить и жадно ловила все живые впечатления, усиленно наслаждалась ими, страстно ими проникалась. Ей нужно было теперь только одно: чтобы муж оставлял ее в покое, не отравлял ее своей близостью, своим присутствием, своим холодным вниманием. Она почти достигла этого. Граф был всецело поглощен поручениями короля, сложными и серьезными. В нем сильнее чем когда-либо говорила дипломатическая струнка, патриотизм и, наконец, самолюбие. Если даже и совершена ошибка, то ведь тем более он должен доказать королю, что может служить его целям с пользой, что вполне достоин доверия своего монарха.

Ему некогда было заниматься женою, и к тому же он был чересчур недоволен ею, чувствовал себя оскорбленным. Он признавал ее неблагодарной.

«Das ist eine verdorbene Natur! – говорил он себе. – Это пустоцвет! Она многому училась, она и теперь много читает, она все умеет, но образование не принесло ей никакой пользы, она пуста. Ведь вот, она уже не ребенок – ей исполнилось двадцать лет. Болезнь дай-то Бог, чтобы это была только болезнь, – от болезни она скоро избавится, она снова расцветет».

«Буду ждать, буду терпеливо ждать...» – кончал он свои мысли и поспешно отгонял их от себя, так как они невольно его раздражали. Он старался забыть и жену, и всю тревогу, которую она в нем поднимала. Эта тревога так не согласовалась с его характером, так портила ему жизнь, мешала ему всецело отдаваться тому, что он считал своим призванием. Упрямым усилием воли отогнав от себя наплывавший туман, забыв жену, он предавался своему делу. Он изучал тяжело и медленно, с большим трудом, но все же основательно и добросовестно все тонкости политики европейских держав, все интриги дворов. Король был доволен его деятельностью, а ведь только это ему и было нужно.

Между тем Елена блистала в венском обществе.

Она вошла в моду, и хотя, конечно, не могла не возбуждать во многих к себе зависти и недружелюбия, но все же это было не то, что при дворе Фридриха. Здесь она была гостья – сегодня она здесь, а завтра умчится далеко. Венские дамы находили, что против ее, хотя и чересчур ярких и обидных для них, но все-таки временных успехов нечего принимать крутые меры.

В течение года своей деревенской жизни Елена как-то особенно развилась и созрела. Она была уже несколько иною, чем при дворе Фридриха, она уже иначе относилась ко всему, что ее окружало. Она спокойно и беспристрастно вглядывалась в людей, в их отношения, характеры и нравы. Она начинала узнавать действительную жизнь, и ей бросались в глаза такие явления, каких она совсем даже не замечала в первое время своей брачной жизни. Теперь перед нею уже вставали вопросы о нравственной и общественной морали, о судьбе женщины в семье и обществе, о ее действительных обязанностях и правах. Перед нею, наконец, встал роковой вопрос о правах сердца, о любви. В первый раз она сознательно отнеслась к своему сердцу и поняла, как пусто в этом сердце, как мало в нем тепла и счастья. Поняла она также не воображением, не холодными доводами рассудка, а всею кровью, всем существом своим, что ей недостает этого тепла и света, недостает солнца. Она узнала, что не только может, но должна любить, что это ее право, ее назначение. Любовь – это солнце жизни. За что же она лишена его? Неразрешимая загадка встала перед нею. Да, она имеет

право на любовь, но не имеет права любить. А если бы и имела это право, то кого и как ей любить?

До сих пор она только смеялась над всеми своими светскими поклонниками, иногда они ее забавляли. Теперь она начинала в них вглядываться и их оценивать. Сразу вычеркнув тех, кто при первой же переключке оказался недостойным ее внимания и не мог ровно ничем заинтересовать ее, она все же очутилась лицом к лицу с довольно многочисленной толпой более или менее интересных, стоящих внимания людей. Каждый из этих людей (она не могла это гоним чувствовать) глядел на нее особенными глазами. Каждый из них приходил в особенное состояние от малейшего знака внимания с ее стороны и малейшей ее улыбки. Она была слишком хороша и блистательна, чтобы могла быть иначе, слишком умна, чтобы на этот счет ошибаться.

Она внимательно разглядела своих поклонников, и первый вывод, ею сделанный, был в их пользу. Все они от первого до последнего, оказывались несравненно интереснее, несравненно ей симпатичнее ее мужа. С каждым из них она, наверное, была бы несчастлива, но достаточно спокойна.

Однако этот первый вывод, сделанный ею, не мог ее заставить хоть сколько-нибудь серьезно увлечься кем-либо. Для нее уже давно стало ясно и очевидно, что не только в Вене, не только в Италии, в Риме, где она уже прожила полгода, но даже и в патриархальном обществе берлинского двора женщины, за весьма малыми исключениями, очень легкомысленны, очень испорчены и легко смотрят на нравственность. Даже с виду необыкновенно чопорные, холодные и неприступные молодые дамы под сурдинкой позволяют себе все что угодно. Она знала много интимных историй, знала много самых грубых нарушений супружеской верности и видела, что все общественное мнение сводится единственно к требованию прятать концы в воду, не бросаться в глаза, не переходить известной, очень тонкой, едва заметной черты, за которой начнется скандал.

Перейти за эту черту, которую и разглядеть-то можно разве при особенно изощренном зрении, – и не только действительный проступок, настоящее нарушение нравственности, но и всякая неловкость, всякая поправимая ошибка превращается в громадную вину и вызывают общественную кару. Оставаться в пределах этой черты – и даже преступление извиняется, можно делать что угодно безнаказанно, не вредя себе во мнении строгого общества, оставаясь на своем месте, со всеми своими правами и преимуществами. Ровно ничего не значит, что все шито белыми нитками и составляет *le secret polichinel*. Общество посмеивается, пожимает плечами, тихомолком злословит, а все же допускает, извиняет, смотрит сквозь пальцы. Тут взаимное молчаливое согласие в интересах друг друга, взаимные уступки.

Графиня Елена долго и серьезно вдумывалась в это, вспоминала все, что видела и слышала, и перед нею проходили минутные капризы, увлечения, ошибки, грубая безнравственность, обман и ложь. Но она не знала ни одного примера истинной, беззаветной и всепоглощающей страстной любви, того чувства, которому, как она думала и верила, многое и многое может проститься.

Она хорошо знала, что на ее месте, в ее обстоятельствах, большинство известных ей молодых женщин, не задумываясь, выбрали бы из среды своих поклонников более подходящего, увлеклись бы им, потом перешли бы к другому, к третьему – и оправдывали бы себя, и оправдали бы. Но она никак не была в состоянии поступать таким образом. Граф мог быть ею очень недоволен, мог считать ее испорченной натурой, а между тем в ней было истинное и редкое качество: она сохранила в себе ту нравственную чистоту, то гордое чувство собственного достоинства, которое составляет высшую силу и прелесть женщины.

Она могла глубоко страдать от своей испорченной жизни, но не могла совершить того, что заставило бы ее перестать уважать себя. Она чувствовала, что в таком случае была бы еще несчастнее, что лишилась бы уже последнего своего достояния. Она находилась именно

в таком положении, когда женщину легко увлечь, когда всего удобнее завладеть ею, когда у нее всего меньше средств для защиты. А между тем, несмотря на все это, завладеть ею было очень трудно. Для того чтобы она забыла свою чистоту, свое чувство собственного достоинства и гордость, чтобы она на падение взглянула как на счастье, надо было заставить ее полюбить всеми силами души, заставить преклониться перед человеком, признать его достойным всех жертв. Если бы она встретила такого человека, то и принесла бы ему все жертвы. Но такого человека она до сих пор не встречала, такого не было в окружавшей и силившейся ее соблазнить толпе. Она была слишком тонка и художественно развита, слишком умна и слишком хорошо владела собою, чтобы ошибиться. К тому же ведь она знала, что такая ошибка будет для нее роковою, будет равняться смерти...

XI

Граф и графиня проводили осень в Риме.

Кажется, никогда еще ясное небо Италии не было так прекрасно, как в том году. Все художественные инстинкты пробудились в Елене. Всю свою неудовлетворенную страсть, всю теплоту своей души она отдавала царственной, окружавшей ее природе и бессмертным памятникам искусства, когда-то созревшему среди этой природы. Рим предоставлял молодой, талантливой женщине много эстетических наслаждений. Она часто скрывалась от общества и проводила целые часы в музеях и древних развалинах умершего великого города.

Когда спадал дневной зной, нередко ее экипаж останавливался у Колизея и она скрывалась в этих развалинах, и долго там оставалась одна, среди мертвой тишины тысячелетних воспоминаний. Это были часы приятного забвения, отрывочных, причудливых мыслей и ощущений, часы истинного поэтического уединения.

В один из таких таинственных вечеров среди бледного мерцания, тепло и мягко лившегося с неба, графиня столкнулась с незнакомым ей человеком. Она и до того изредка встречалась в Колизее с разными путешественниками и путешественницами, но до сих пор ни разу между нею и этими встречными не было произнесено ни одного слова. А этот незнакомый человек прямо подошел к ней, заговорил с нею, и она ему отвечала.

Он был молод, не отличался выдающейся красотой, но его бледное и тонкое лицо, его светлые и блестящие глаза невольно произвели на Елену сильное и какое-то особенное впечатление. Потом, после этой первой встречи, она не помнила ничего, не могла себе представить ни его фигуры, ни его одежды. Но перед нею так и стояли неотступно его удивительные глаза.

Он заговорил с нею по-итальянски, предупредил ее, что, обходя Колизей, он заметил несколько человек очень подозрительного вида, что на днях уже здесь был случай ограбления запоздавшего путешественника. Он советовал ей прекратить прогулку и вызвался вывести ее из Колизея.

Она не испугалась, как-то даже не сообразила, что можно испугаться, и позволила ему проводить себя. Она приняла его за итальянца. Но вот в разговоре он сказал ей, что он иностранец, что он русский. Она оживилась. Ей довольно редко приходилось встречаться с соотечественниками: граф очень искусно всеми мерами отдалял от нее подобные встречи; те же русские, с которыми она все же встречалась, оказывались неинтересными.

Он назвал ей себя, но фамилия Заховинова ничего не сказала ей. Она не знала, никогда даже не слыхала ни о ком, кто бы носил такую фамилию. Он объяснил ей, что это немудрено, так как имя его ничем не знаменито, да и сам он постоянно живет за границей, переезжая из страны в страну, из города в город. На ее вопрос: «Чем он занимается?» – он очень просто сказал, что у него нет никаких определенных занятий.

Между тем разговор, помимо воли графини, завязывался. Она поинтересовалась узнать, где именно, в каких странах он путешествовал, и узнала, что он по целым годам жил в Германии, Англии, Франции. Он объездил всю Европу, был в Испании, в Греции, в Турции. Был он также и в Египте, да и мало ли где...

Он довел ее до экипажа, почтительно раскланялся перед нею и исчез. Ее застоявшиеся лошади рванули с места, и она успела только в знак благодарности кивнуть ему своей прелестной головкою. Она думала, что этот человек, которого она мысленно назвала «странным», появился перед нею на мгновение, что эта первая и последняя с ним встреча. Но с этого дня их встречи были довольно часты. Заховинов попадался ей то здесь, то там. Он заинтересовывал ее все больше и больше.

Наконец она пригласила его бывать у нее, и он воспользовался этим приглашением. Между ними установились совсем особенные отношения, каких у нее не было до сих пор еще ни с кем.

Заховинов нисколько не ухаживал за нею. При посторонних он держал себя со скромным достоинством, даже старался как бы стушеваться, не обращал на себя внимания. Но вместе с этим он, видимо, чувствовал себя непринужденно. И странное дело, никто не знал его, его общественное положение было неопределенно, а между тем он ни в ком из окружающих графиню не возбудил ни любопытства, ни изумления. Его присутствие у Зонненфельдов было молчаливо принято и признано как свершившийся факт. Скоро Заховинов сделался членом самого интимного кружка графини, появлялся в ее доме почти ежедневно, но на это никто, даже сам граф, не обращал ни малейшего внимания. Впоследствии это обстоятельство стало казаться Елене очень странным, оно было почти неестественным; но тогда, в Риме, она об этом совсем не думала, да и вообще она не задумывалась над своим новым знакомством и смыслом этого знакомства. Она просто пользовалась всем, что давал ей Заховинов.

Оставаясь с ним наедине (а и это случалось очень часто), она нетерпеливо и жадно вслушивалась в его рассказы, во все, что он говорил ей.

Она не видела в его присутствии, как идет время, будто читала самую интересную книгу. И в каждой новой главе этой книги она находила именно то, что могло заинтересовать ее в данную минуту. Она свободнее и глубже думала с Заховиновым. Он будил в ней все новые мысли; иной раз он заставлял ее останавливаться над такими вопросами, о самом существовании которых она прежде даже и не подозревала. Мало-помалу он начинал выводить ее из материального мира, среди которого она жила. Он уводил ее в иной, таинственный, мистический мир, полный великих грез, светлых и смелых гипотез. Он говорил ей о тайнах мироздания, о чудесах природы, о могучих силах бессмертного духа. С каждым разом он поднимал ее все выше и выше, и она испытывала блаженное замирание всего своего существа на этой ослепительной, таинственной высоте, с которой то, что она до сих пор считала единственной «действительной» жизнью, казалось таким ничтожным, почти призрачным.

Он уходил – и долго она оставалась как в чадy, под обаянием слов его, и тяжело ей было возвращаться к действительности.

Он уходил, и она ждала новой встречи, но ждала без тоски – ее вечная, всюду преследовавшая ее тоска теперь затихла...

Как-то Заховинов пришел к ней и объявил, что уезжает. Она даже как бы равнодушно отнеслась к этому известию, не придавала ему значения, просто не поняла его.

Она простилась с ним любезно и без всяких признаков душевного волнения.

Он сказал ей, что они скоро встретятся.

Она засмеялась и стала доказывать ему, что это невозможно, что он едет в одну сторону, а она в другую.

Но когда он ушел, ее тоска возвратилась.

Едва он исчез из ее кружка, в этом кружке произошло нечто странное. О Заховинове заговорили, и заговорили недружелюбно... Его вдруг признали недостойным занимать то место, которое он занимал в этом избранном, высокопоставленном обществе. Кто он? Никому неизвестный, темный человек, без имени, без положения. Как он сюда втерся? Каким образом на него глядели, как на равного?

Да и сама графиня задала себе вопрос: кто же он в самом деле? Но ей пришлось оставить вопрос этот без ответа.

Ее тоска возрастала с каждым днем. И вдруг на нее налетела буря. Она сразу сделала то, о чем до сих пор и не думала.

Она пришла и объявила мужу, что не может больше жить с ним.

Граф остановил на ней свои бледные, широко раскрытые глаза. Он заставил ее повторить. Он не верил ушам своим.

– Да что же это значит? Отчего? – растерянно спросил он.

XII

Сухое, желтое лицо графа побагровело. Бесцветные глаза его налились кровью, на лбу выступила жила, острый его подбородок как-то странно запрыгал. Он сидел не шевелясь и только почти беззвучно повторял:

– Что это значит?.. Я, верно, не так вас понимаю... объяснитесь, графиня!..

Она стояла перед ним во всей своей ослепительной красоте с побледневшим и застывшим лицом. Глубокие глаза ее грустно, но в то же время решительно сияли из-под длинных черных ресниц.

– Я думаю, что говорю ясно и просто! – наконец произнесла она. – Один Бог знает, сколько я терпела, сколько я вынесла! Но я человек, а не камень... у меня сил больше нет... освободите меня, я не могу жить с вами.

Граф изо всех сил стиснул ручку кресла и спокойным голосом сказал:

– Что я вам сделал, в чем провинился перед вами? Я не знаю за собою вины. Но, быть может, между нами недоразумение... в таком случае надо его выяснить...

– Да поймите же, наконец, что я не люблю вас! – вырвалось у Елены.

Граф вздрогнул, ручка кресла хрустнула под его рукою. Но через мгновение он был опять спокоен, только на лбу его еще сильнее выступила толстая жила.

– Вы не любите меня... вашего мужа?! Так скажите же мне опять-таки: за что, чем я заслужил это?

Она молчала.

– Разве я совершил какой-нибудь поступок, недостойный честного человека, недостойный моего имени? Или, может быть, я нарушил свой обет, может быть, я изменил вам? Что же вы молчите? Говорите... отвечайте!

– Мне нечего говорить, я уже сказала.

Даже огонь вспыхнул в его глазах. Порывистым движением он было приподнялся с кресла и опять упал в него.

– Так, значит... что же? – Вся краска схлынула с его лица, и оно сделалось мертвенно бледным. – Значит, это вы недостойны имени, которое я вам доверил, которое я подарил вам перед людьми и Богом. Значит, вы допустили в себе какую-нибудь преступную страсть... и меня опозорили...

Он так и впился в нее. Он был страшен.

Теперь в свою очередь вспыхнула Елена.

– Нет, – сказала она, не опуская перед ним глаз, – я ничем не опозорила вашего имени. Я никакой преступной страсти в себе не допустила. Я не изменила вам, и вы должны мне верить.

Он глядел на нее, весь превратился в зрение. Он жадно и мучительно читал в ее глазах. Наконец он ей поверил, не поверить ей было бы для него таким невыносимым ударом.

– Так что же? – растерянно воскликнул он.

– Граф, увольте меня от этого тяжелого для вас и для меня объяснения, позвольте мне уйти... я вам все сказала... мое решение неизменно. Сделаем же все это спокойно, мирно, без огласки... Граф, поймите, я ничего не имею против вас, я знаю, вы честный и хороший человек... Благодарю вас за ваше внимание, я знаю... вы всегда мне его оказывали, благодарю за ваши заботы обо мне... Но освободите меня...

– Нет, не уходите! – властно сказал он. Он ничего не понимал. Он смутно начинал бояться за ее рассудок. Что такое она говорит? Ведь это безумие, ведь это ни с чем не соотносимо.

– Не уходите и одумайтесь! Какое противоречие в ваших словах! Вы уверяете меня, что верны мне, – и я вам верю. Вы признаете, что я всегда был для вас внимательным мужем, заботился о вас, что я достоин уважения... и вы объявляете мне, что не можете жить со мною, требуете разлуки!.. Елена, жена моя, одумайся, садись, дай мне руку, успокойся...

Он взял ее руку своей холодной, как лед, рукою.

Но это его прикосновение, последние слова его, в которых она расслышала даже что-то похожее на ласку, подняли в ней целый ад. В одно мгновение перед нею встали все эти пять лет мучительной жизни с этим чужим, теперь уже совершенно отвратительным для нее человеком. Она вырвала свою руку и, задыхаясь от негодования, произнесла:

– Да поймите же, наконец, что я никогда ни на одну минуту вас не любила!

– Что?! – воскликнул он, подымаясь с кресла. – Что?!.. Никогда не любила?!..

Она думала, что он убьет ее, – так он вдруг стал страшен. Но он только гордо поднял голову и окинул ее презрительным взглядом.

– Никогда не любила! Но если это правда, как же вы смели выходить за меня замуж и меня обманывать? Разве я силой женился на вас, силой вас взял? Разве я унижался перед вами, вымаливал ваше согласие? Я сделал вам предложение – и вы его приняли тотчас же, с видимою радостью... Или я лгу? Не так оно было?

Она не смутилась под его презрительным взглядом.

– Это было так, но вы забываете одно: я была ребенком... – Вам было семнадцать лет. Девушка в эти годы не ребенок. Если бы вы были тогда ребенком, вас бы за меня не выдали замуж. Выходят и раньше этого. Вы были взрослая, созревшая девушка; кругом говорили о вашем уме, о вашем большом образовании... Если бы вы были ребенком, я бы и не остановил на вас моего выбора, я бы на вас и не женился... Ну теперь, во всяком случае, вы не ребенок. Отвечайте же мне, что вы сделали с моей жизнью? Теперь вы не ребенок и должны понимать все. За что я должен выносить этот позор, какого никогда еще не случалось в моем роду?

– Позора для вас я не вижу тут. Это большая ошибка с вашей и с моей стороны – и только. Я не виню вас ни в чем, не вините же и вы меня. Я верю и понимаю, что вам теперь тяжело, но ведь и мне было тяжело целых пять лет... и согласитесь, что я слишком долго берегла вас. Верьте, я боролась до последнего... я не могу больше, не требуйте же невозможного, освободите меня, освободитесь сами... Мы не созданы друг для друга. Может быть, еще не все потеряно, вы еще будете счастливы. Ведь вы меня тоже не любили, а если и любили, то теперь уж любить не можете...

Граф ее не удерживал. Он остался недвижимый на своем месте, подавленный неожиданностью случившегося. В первый раз в жизни он совсем растерялся. Он понял, что все кончено, разрыв совершился. У него нет больше жены. Да если бы теперь она и вернулась, он уже не может принять ее после всего, что она сказала. Она нанесла ему сразу все оскорбления, какие только можно нанести человеку.

Нет, это ложь, что он не любил ее, нет, он любил ее, даже чересчур много. Он был слишком слаб с нею. Если бы он не любил ее, то поступал бы иначе, не прощал бы ей ее капризов, причуд, не выносил бы всего, что ему пришлось вынести и выслушать. Он не простил бы ей ее пренебрежение к матери, не заботился бы о ее здоровье, не устраивал бы ради нее так, а не иначе жизнь свою. И вот благодарность!

Граф искренно забывал, что он любил ее, во всяком случае, не для нее, а для себя, что он любил ее главным образом ради тех целей, достижение которых он наметил себе с ее помощью, на которых стоял упрямо. Но как бы то ни было, она права: он любил ее, но теперь любить не может. Он никогда не забудет и не простит ей всех этих оскорблений, не простит как муж, а пуще всего как граф Зонненфельд фон Зонненталь.

Да, конечно, не пропадать же ему из-за этого позора! Да, это позор, но он должен выйти из него с честью. Не пропадать же ему из-за того, что он сделал непростительную глупость,

доверив свое имя и свою жизнь чужеземке дикого татарского происхождения, неспособной понять и оценить все, что для него свято и дорого, надсмеявшейся над всем, перед чем он преклоняется.

Граф заперся у себя, никуда не выезжал до следующего дня и никого не принимал. Затем он вышел из своих комнат спокойный, с величественным, гордым видом и принялся за свою обычную деятельность. Он не хотел видеть графиню и переслал ей свое решение на письме.

Он писал ей, что согласен разойтись с нею, но не иначе, как разведясь формально. Он берется устроить лютеранский развод, для которого не может встретить препятствий. Но она православная, она обвенчана с ним не только в лютеранской, но и в православной церкви. Он советует ей немедленно ехать в Петербург и там решить это дело. С его стороны не будет никаких затруднений.

Графиня прочла это письмо, перечла его несколько раз и долго сидела неподвижно. А слезы одна за другою так и катились из глаз ее. Но это были ее первые счастливые слезы.

Конечно, она не стала мешкать с отъездом.

Через месяц она была уже в Петербурге, уже представилась императрице и получила надежду на скорое окончание своего дела. Остановка была только за неизбежными формальностями, и эти формальности затягивались вследствие медленности сообщений между Петербургом и Веной, где теперь находился граф.

Графиня Елена снова вошла хозяйкой в петербургский дом своего отца. Она застала этот дом в печальном запустении и беспорядке, но он все же был ей мил и дорог. Ей казалось, что она проснулась после долгой болезни, после мучительного бреда. Ей казалось, что она снова вернулась к счастливым дням своего детства и отрочества.

Она застала отца не по летам одряхлевшим, осунувшимся. Она почти не узнала этого красивого франта, победителя женских сердец, превратившегося в добродушного и тупого старика, который с видимым затруднением вникал даже в самые простые вещи.

Отец охал и ахал, слушая признания дочери. Но он решил, что все к лучшему. Он рад был ее видеть, так как чувствовал себя совсем одиноким и покинутым. А теперь, с ее приездом, он уже не будет больше одинок. Теперь у него есть добрая сиделка.

XIII

Давно прошло то время, когда обстановка жизни самого богатейшего русского вельможи и сановника представлялась заезжему иностранцу темной и бедной, когда богатый и тароватый русский человек ютился в низеньких, крохотных покойчиках и довольствовался самыми незатейливыми вещами, зная, что даже и государь великий в своих царских палатах живет немногим лучше его. Давно прошло то время, когда чудесною, невиданною и неслыханною представлялась царская обстановка двора Алексея Михайловича, где появилось при сближении с Европою много чуждого, заморского.

Уже со времени Петра Великого европейские понятия о роскоши и стремление к этой роскоши стали проникать в русское общество. Великий царь любил для себя простоту и сам довольствовался малым, но и он находил необходимым не ударить в грязь лицом перед иностранцами.

Многие же из русских вельмож и государственных людей того времени жили очень широко и своею пышностью поражали даже иностранных резидентов.

В царствование Анны Ивановны роскошь двора и домов именитых русских людей была необыкновенна. Многие полагают, что временщик Бирон даже нарочно всеми мерами развивал эту роскошь и требовал от влиятельных русских лиц безумных расходов именно с целью разорить все богатые и известные русские фамилии.

При императрице Елизавете эти безумные траты на обстановку и на жизнь как бы несколько сократились. Но это происходило не потому, что появилось в высшем обществе сознание ненужности таких трат, а просто все чересчур истратилось, запуталось в своих делах и поневоле должны были на некоторое время кое-где и кое в чем сокращать расход.

Но до каких бы размеров ни доходила роскошь высшего русского общества в первой половине восемнадцатого века, все же в этой дорогостоящей жизни было много противоречий: рядом с чрезмерным блеском напоказ даже и не для особенно внимательного взора выступала неприветливость и неприглядность прежних грубых нравов и привычек. Часто бывало золото снаружи, а грязь внутри.

Только с воцарением императрицы Екатерины Второй высшее русское общество стало уметь жить не только богато, но и со всеми удобствами, выработанными жизнью в Западной Европе. Блеск двора Екатерины мог спорить только с французским двором и далеко оставлял за собою все прочие европейские государства. Как жила государыня, так старались жить и ее приближенные, а равно и все богатые люди, считавшие себя принадлежащими к высшему кругу.

Русская старина со всеми ее темными и светлыми сторонами, со всем, что в ней было не только достойно порицания и требовавшего изменения, но также и со всем, что в ней было хорошего и своеобразного, что следовало сохранить в полной неприкосновенности, подверглась окончательному изгнанию и забвению. Французский язык стал модным и любимым языком общества, и вместе с этим языком вторглись и все заполонили французские моды. Русские люди высшего круга иной раз по виду представлялись всесовершенными французами, к счастью, только по виду, говору, привычкам и обстановке. В последние пятнадцать лет были обновлены, переделаны и перестроены до неузнаваемости не только царские дворцы, но и чертоги всех вельмож. Все это сияло новым блеском. Европа то и дело отсылала в Петербург за дорогую, иной раз безумно дорогую цену лучшие произведения своей промышленности. Но этого мало – она высылала в Петербург и лучшие произведения своего искусства, своего гения.

Богатейшие русские дома начинали наполняться как старинными, так и современными картинами знаменитых иностранных мастеров, творениями знаменитых ваятелей. В русских домах появились дорогие коллекции, музеи, библиотеки.

По недавно еще глухим, плохо застроенным и еще плоше мощным петербургским улицам возвышались теперь величественные здания, заключавшие в себе настоящие сокровища всякого рода...

Богатство, роскошь, причуды утонченного вкуса!.. Но вот здесь, в этих чертогах, уже не богатство, не роскошь – здесь что-то почти невероятное, сказочное, далеко оставляющее за собою все ожидания, слухи и толки. В этом громадном жилище, в этом длинном ряде обширных зал и галерей веет каким-то особенным воздухом. Попав сюда, сразу переносишься в совсем сказочный мир, здесь забывается действительность, наплывает будто туман. Это не Петербург, это нечто заколдованное, существующее вне пространства и времени. Это дворец Черномора, это осуществление самой страстной, самой дерзновенной мечты тоскующего по земной красоте воображения.

Все, что может дать золото, которому нет и счета, все, что может создать искусство человека, – все здесь собрано. Но собрано не в последовательности, не в порядке, не по выработанному плану. Напротив, здесь всякое отсутствие плана, здесь величайший, почти хаотический беспорядок. Но именно в этом хаотическом беспорядке и есть какая-то особенная, художественная и тонкая гармония. Неожидаемые и смелые смешения самых разнообразных предметов, необыкновенное сочетание капризных форм – все это и кладет отпечаток сказочности на чудное жилище, все это и поражает взгляд, очаровывает и смущает...

Кто же владетель этих богатств? Кто создатель этих волшебных чертогов? Кто сумел сочетать здесь блеск Запада с горячей фантастической роскошью Востока? Чья причудливая мечта нашла себе здесь осуществление, создала наяву горячую ночную грезу? Кто здесь хозяин? – Потемкин...

Мысль бытописателя, утомленная всяческой злобой дня, любит порою уноситься в прошлое и вызывать из глубины его бывшие полузабытые образы. В тихие часы уединения забывается настоящее со всем, что ему «довлеет», и пробужденная память предлагает запас света, полученный ею из сокровищницы истории. И этот свет, проникая сквозь туман и мрак протекших лет и веков, мало-помалу озаряет полные движения, полные жизни картины. Нужды нет, что картины те были, что люди, в них действующие, жили! В нашей власти снова оживить и воскресить их, ибо ничто из того, что было – не пропадает, не исчезает в природе.

Да, перед нами живые люди, действительные события, и только наблюдая их на вековом расстоянии, можно видеть их спокойнее и яснее, понимать их глубже и судить лучше, беспристрастнее.

Не тень и не призрак – Потемкин. Он жив и ясно виден среди пестрой, переливающей всеми цветами, блестящей жизни, его окружающей. От него отошло и рассеялось все, что его затуманивало, все, что было ему навязано плохо его понимавшими, чуждыми беспристрастия современниками. Он освобожден теперь от всего, ему не принадлежащего, и является таким, каким создала его природа. И влечет он к себе невольно, этот чародей, этот могучий русский человек, один из славнейших и достойнейших сынов России, великан – выразитель лучших качеств человеческого духа и интереснейших слабостей человеческой плоти.

Над его гордой и печальной головою ярко горит звезда, горит прекрасным, но переменчивым светом. То звезда его судьбы, звезда истинных избранных, любимцев природы. В ясных и чистых лучах ее – победа, в кровавых – падение...

Чуял ли он ее над собою, эту чудно прекрасную, заманчиво страшную звезду судьбы, когда вырастал и креп для жизни в бедной смоленской усадьбе отца своего? Нет, он, конечно, был таким же ребенком, как и многие другие дети, – бойким, понятливым, живым, но иногда и мечтательным ребенком. Вряд ли думал он о своей звезде-судьбе и тогда, как отец привез

его, по шестнадцатому году, в Москву, определил в дворянскую гимназию, учрежденную при только что открытом тогда Московском университете, и в то же время зачислил рейтаром в лейб-гвардии Конный полк. Юноша был здоров и крепок, в молодом, сильном теле развивался сильный дух. Живость, любознательность, блестящие способности и удивительная память делали ученье легким и приятным. Золотая медаль за успехи через год, через два – поездка с директором университета в Петербург, представление в числе лучших учеников и студентов куратору университета Ивану Ивановичу Шувалову. Потемкина с товарищами везут во дворец. Императрица Елизавета встречает их ласкою и приветом. «Для лучшего ободрения и поощрения учащегося юношества» их награждают чинами, хотя и оставляют в университете до окончания курса. Потемкин пожалован в капралы. Он опять в Москве, на ученической скамье...

И вот тут, быть может, впервые юноша почувствовал звезду-судьбу свою, она озарила его всеми своими прекрасными, соблазнительными, переменчивыми лучами. Он сразу преобразился. Он понял или, вернее, почувствовал, что чудная звезда снова влечет его туда, откуда он только что вернулся, туда – на чертоги роскоши, власти и славы, к самым ступеням трона. Он уже видел блеск и величие и не мог уже больше жить без них. «Все это должно быть моим!» – страстно хотел он всем своим существом. «Все это будет твоим!» – в нем и над ним шептал ему таинственный голос.

Он совсем перестал учиться, из первых стал последним. Зачем это ученье? Разве он не знает, что ему стоит только захотеть и без всяких трудов и усилий он будет знать все, что угодно, станет учение первейших ученых? Но теперь ему не надобно университетской науки. Теперь он томится иною жаждой. Дух его страждет, и алчет, и жаждет, в нем кипит могучая борьба созревающих, рвущихся к деятельности живых сил. Что облегчит его, что успокоит, что его насытит? Не в забавах, не в разгуле, не в пьяном чаду ищет он утolenия своей жажды, забвения тревог и мук своих – он ищет этого в вере, ходит по монастырям, беседует с монахами, читает священные книги, молится. Жаркая молитва, религиозные и философские размышления, духовный и мистический мир со всеми своими могучими и святыми образами, со всеми своими высокими вдохновениями спасают юношу от уныния и отчаяния, поднимают его в те области, где легко и свободно дышится его духу.

Но звезда-судьба жарче, яснее горит над ним, и настойчивее, соблазнительнее звучит таинственный голос: «Все это будет твоим!» И он не в силах больше противиться влекущему зову. «Туда! В Петербург!» У него нет денег на дорогу – отец беден и высылает ему из деревни очень мало. Он идет к московскому архиепископу Амвросию, говорит: «Я должен ехать в Петербург, там ждет меня моя судьба!» Архиепископ не возражает, очевидно, не сомневается в словах юноши, находится под его обаянием, проникается мыслями его и чувствами и дает ему на дорогу пятьсот рублей.

Потемкин в Петербурге, принят в действительную службу в полк, произведен в вахмистры. У него нет ни денег, ни связей, ни знакомства. Но звезда горит над ним. Он сходитесь с молодыми людьми из лучших фамилий. Он становится горячим приверженцем великой княгини Екатерины Алексеевны.

Знаменательный день 28 июня 1762 года. Потемкин в Петергофе, в числе окружающих государыню. Она принимает присягу от гвардии, подъезжает на коне, по-мужски, в мундире, к Конному полку. Она обнажает шпагу и вдруг видит, что на ней нет темляка. Это ее смущает. Тогда молодой Потемкин, который не спускает своих восхищенных глаз с государыни, во мгновение подъезжает и, ловким движением сорвав свой темляк, подает его Екатерине.

Темляк принят с ласковой улыбкой. Молодой вахмистр хочет отъехать, но его конь, несмотря на все усилия и боль от вонзаемых шпор, останавливается, как вкопанный, рядом с конем императрицы. Звезда-судьба горит ярко и пламенно и сливается с подобной же лучезарной звездой. Две знаменательные судьбы отныне сошлись, и с этого дня начинается

почти волшебное исполнение всего, о чем неясно и смутно грезилось бедному московскому студенту...

С тех пор прошло семнадцать лет, и, кажется, ничего уж не осталось от прежнего Потемкина. Теперь это первый человек в России, всесильный, могущественнейший вельможа, перед которым все склоняется, трепещет. Один его знак – и решается судьба людей, изменяются почти уже совершившиеся события, «творится история». Почести, титулы, знаки отличия, богатство без счета и меры – все, чего только может желать честолюбие и славолюбие человека, все это пришло к нему, пришло само собою, без усилий, почти без борьбы, достигнуто средствами, не смущающими его совесть.

Великая царица великой России приобрела в нем человека, себе равного, Россия приобрела в нем великого и славного работника. Он был прав, когда думал и знал в юные свои годы, что ему стоит захотеть – и он будет все знать, стоит захотеть – и он все сделает. Теперь он знал и делал все, что надобно было его родине, ее славе, крепости и могуществу.

Пройдут века, а значение славных подвигов и дел чародея Потемкина не исчезнет, не забудется, ибо он делал именно то, что нужно для России.

Если проследить шаг за шагом его знаменательную, плодотворную и всестороннюю деятельность, то естественно представится, что этот удивительный человек должен был работать не покладая рук, с утра и до позднего вечера, должен был всецело отдавать себя государственной работе. А между тем этого не было – он действовал по вдохновению, мгновенно, магически. На что другому потребовались бы месяцы, то он свершал в минуты и часы. Его озаряла счастливая мысль, и тотчас же, как по волшебному мановению, перед ним разворачивалась во всех мельчайших подробностях самая сложная и яркая картина. Он видел перед собою все обстоятельства, все комбинации, все неизбежные последствия дела, бывшего еще за минуту перед тем чуждым ему и незнакомым делом. Он видел, а потому и не мог ошибаться.

А когда он видел и знал, что такая-то мысль, такое-то дело полезны и нужны для России, он хотел их немедленного осуществления. Он бессознательно владел тайною такого хотения, перед которым падают и исчезают все препятствия. Его воля была законом, но вовсе не потому, что он был временщиком, любимцем царицы. Его фавор кончался, сердечное отношение к нему Екатерины изменялось, она бывала им недовольна, серьезно на него сердилась, даже негодовала, хотела высвободиться из-под его влияния, не желала больше его слушать. Но он являлся со своей мыслью и волей – и могучая властительница Екатерина, твердо приготовившаяся с ним бороться, невольно уступала его мысли и воле.

При такой магической работе, при таких исключительных средствах у чародея оставалось много свободного времени, и пока не призывал его высший голос, требовавший его работы для России, он предавался лени, праздности, погоне за удовольствиями и томился.

Бывали дни, недели, когда он представлялся окружавшим олицетворением всех человеческих странностей, причуд и капризов, доходивших иногда до таких крайностей, что люди, не понимавшие его сложной, исключительной природы, имели все основания или опасаться за его рассудок, или считать его мелочным гордецом, опьяневшим от власти и могущества.

Сын смоленского помещика, почти нищий студент купался теперь в золоте, и никакая роскошь не могла удовлетворить его. У него то и дело являлись самые необыкновенные желания, и гонцы мчались за сотни и тысячи верст добывать для него какую-нибудь редкую вещь, какое-нибудь странное кушанье и возвращались с требуемым им предметом тогда, когда он уж забывал о своем капризе и желал чего-нибудь иного.

Задавались дни, когда он вдруг исчезал для всех, никого не впускал к себе и бродил немый, полураздетый, с мрачным лицом по своим сказочно роскошным чертогам. Все

становилось тихо вокруг него, будто вымирало, и среди этой тишины раздавались только его тяжелые шаги и глубокие вздохи...

XIV

Среди художественного беспорядка обширной комнаты, назначение которой определить было невозможно – такое в ней царствовало смешение самых разнородных предметов, на низеньком и широком восточном диване, окруженный мягкими, причудливо расшитыми подушками, лежал Потемкин.

Время близилось к полудню, но «светлейший князь» не думал о времени, забыл о нем. Неумытый, непричесанный, в мягком шелковом халате, в туфлях на босу ногу, он повертывался то на один бок, то на другой, ища удобнее положения. Наконец он нашел самое удобное, самое ленивое положение. Тогда он раскрыл книгу церковной печати, лежавшую рядом с ним, и устроил ее на подушках так, чтобы без помощи рук она сама держалась на должном от глаз его расстоянии, чтобы ее удобно было читать, не изменяя найденного ленивого положения. Устроив все таким образом, он внезапно и всецело углубился в книгу.

Потемкину исполнилось сорок лет, и года положили на него свой отпечаток. На открытом, своеобразно красивом лице его с длинным и тонким горбатым носом теперь установилось совсем особое выражение. В этом выражении, сразу поражавшем всякого и на всякого производившем сильное, неизгладимое впечатление, соединялись, по-видимому, самые разнородные, несоединимые свойства: пронизательность и рассеянность, гордость и простодушие, надменность и доброта. Но надо всем этим преобладал ум, глубокий, ясный, блестящий, соединенный с могучей, всепокоряющей силой.

Когда Потемкин являлся среди толпы сановников и царедворцев в шелку, бархате и золоте, усыпанный бриллиантами и звездами, от него веяло почти царственным величием; взглянув на него, нельзя было ни на минуту усомниться в его исключительности и в его могуществе. Никто, как он, не умел одним взглядом уничтожить и стереть самого высокомерного о себе человека. Никто, как он, не умел одним взглядом оттолкнуть от себя или привлечь к себе. Каждый день, каждое его появление среди людей и соприкосновение его с ними доставляли ему новых врагов и новых поклонников. Но враги его пока были бессильны, а в поклонниках он не нуждался.

Тут, на этом диване, неумытый и раздетый, Потемкин, конечно, был иным. Его большая и сильная, но слишком рано отучневшая фигура, не скрашенная блестящей одеждой, заспанное лицо с резче выступавшими на лбу, около глаз и у рта морщинами, не могли не лишать его значительной доли обаяния и величия. Но все же художник и теперь остановился бы с восторгом над его косматой, львиной головой и следил бы за игрой чувств и мыслей на его чертах, в его взгляде, углубленном в чтение.

Все, что он почерпал из книги, очевидно, глубоко его интересовавшей, выражалось в лице его. Он читал сильное по духу и мысли творение одного из отцов церкви. Он начал с простого внимания к чужим мыслям, перешел в сомнение, в недоверчивость, затем началась борьба духа с материей, материя готова была осилить и возмутиться; но внезапно дух восторжествовал: жажда правды, света, любви... молитвенные слезы... скорбь о грехах и слабостях плоти... и потом вдруг откуда-то опять сомнение...

Потемкин оставил книгу, запрокинул голову и закрыл глаза.

Когда он открыл их, то заметил в глубине комнаты человеческую фигуру. Тишина стояла полная, фигура не двигалась, и он сразу узнал в ней своего секретаря. Он долго глядел на него все еще под обаянием далекого от действительности, наполнявшего его мира чувств и мыслей. Наконец он произнес сердитым голосом:

– Это ты, Фомич? Чего тебе?.. Что лезешь?

Секретарь, человек неопределенных лет, с неглупым костлявым лицом, вылощенный, олицетворявший собою скромность, умеренное подобострастие, но в то же время, очевидно, не очень легко терявшийся, тихо произнес:

– Ваша светлость приказать изволили доложить о князе Захарьеве-Овинове... Они тут-с...

– Кто такой? – раздраженно переспросил Потемкин.

– Князь Захарьев-Овинов... По приказу вашей светлости вчерашний день я приглашение писал... за собственноручным вашим подписом. Назначено явиться на сегодня и в сей час... А мне от вашей светлости наказано доложить немедленно.

Проговорив это, секретарь ждал, оставаясь неподвижным.

Прошла минута, затем другая.

– Да! вспомнил!.. зови! – наконец совсем сердито крикнул Потемкин.

– Куда прикажете?

– Сюда... Что ж мне, одеваться, что ли?

Секретарь исчез.

«Вот еще... очень нужно! – думал Потемкин. – Отдохнуть, подумать не дадут... Царица просила не откладывая разглядеть этого нового князя из чужих краев... Разглядеть без пристрастия, расспросить и доложить... Интересен очень показался... Эх, да мне-то это куда не интересно!..»

Мысль его о вчерашнем свидании с императрицей оборвалась, и он вдруг жадно схватился за книгу. Слово, другое, третье – фраза. Так и брызнуло от этой фразы таинственным светом. «Не здесь, а там! Здесь – тление, там – жизнь, правда, любовь...» Кругом все так же тихо; но вот Потемкин чувствует, что кто-то вошел, что кто-то остановился в нескольких шагах от него.

Он с неудовольствием закрыл книгу, полуобернулся на диване и мельком взглянул на вошедшего.

– Князь Захарьев-Овинов? – произнес он зевая.

– Да, я Захарьев-Овинов... я получил письмо ваше, князь, и в назначенный мне вами час, как видите, являюсь.

Слова эти были произнесены спокойным, ровным, как будто металлическим голосом, в котором не звучало никакого выражения, никакого чувства.

– Здравствуйте! – опять зевнул Потемкин.

– Здравствуйте, князь! – прозвучал тот же невыразимо спокойный голос.

Потемкин совсем повернулся, несколько приподнялся с подушек, спустил одну ногу с дивана, туфля с другой ноги упала на ковер.

Теперь он с удивлением глядел на вошедшего. Он не удивлялся в нем обыкновенной молодости, о которой ему говорила императрица, его поразило нечто другое, поразило особенное спокойствие этого человека, и в этом спокойствии он сразу почувствовал гордую, самоуверенную силу.

Он никогда не видал таких людей, а теперь вот уже немало лет все склонялись перед ним и если не трепетали, то, во всяком случае, обдумывали каждый шаг свой, каждое движение, слово. Он привык, что каждая фраза, обращаемая к нему, непременно начиналась с «вашей светлости».

Так никто не входил к нему, не здоровался с ним, так никто не говорил ему. Он видел ясно и безошибочно, что этот человек не только не смущен, но чувствует себя как дома и что эта непринужденность его совсем естественна.

Потемкин заинтересовался не на шутку. И вдруг, сам того не замечая, он грузно поднялся с дивана, сунул свою босую ногу в валявшуюся на ковре туфлю, запахнул халат, подо-

шел к гостю и протянул ему руку. Его будто обожгло прикосновение нежной, почти женской, но сильной руки гостя.

– Прошу вас, садитесь! – сказал он, указывая на кресло.

Князь сел с легкой, едва заметной улыбкой, настолько легкой и едва заметной, что Потемкин не мог решить, была ли она в действительности или ему только показалось.

Затем они несколько мгновений молчали и пристально глядели друг на друга. Это была какая-то немая, страшная борьба без всякой враждебности. Наконец светлый, могучий взгляд гостя победил хозяина. Потемкин опустил веки. На его щеках вспыхнула краска.

Но он сам себе не отдавал никакого отчета в своих ощущениях.

XV

Захарьев-Овинов первый прервал молчание.

– Князь, – сказал он, – я приехал в Петербург, вызванный письмом моего отца. Отец мой болен, и хотя болезнь его не угрожает жизни, но параличом он прикован к постели. Он потерял почти одновременно жену и дочь три года тому назад, и это несчастье было причиной его болезни. У него оставался сын, единственный после него представитель старого имени князей Захарьевых-Овиновых. Теперь ровно полгода как жестокая горячка в несколько дней унесла этого тридцатилетнего человека, полного сил и здоровья. Вы его знали, князь, он служил под вашим начальством и пользовался, как мне кажется, вашим вниманием.

– Да, я знал довольно близко вашего брата, он был способный и хороший человек, и я думал, что ему предстоит хорошая дорога, – произнес Потемкин, поднимая на собеседника свой уже успокоенный, полный всегдашней силы взгляд.

– Но суждено было другое, – продолжал Захарьев-Овинов, – отец едва перенес это новое горе, но все же перенес его. Он остался совсем одиноким. Тогда он вспомнил обо мне, своем старшем, но непризнанном, незаконном сыне... впрочем, он никогда не забывал обо мне, только мы не видались около пятнадцати лет... Он обратился к государыне с прошением о передаче мне всех прав и родового имени и титула. Государыня исполнила это желание. Я ничего не знал и был очень далеко. Письмо отца, извещавшее меня обо всем происшедшем, совсем изменило и значительно расстроило мои планы. Но я не мог отказать отцу в его настоятельной просьбе приехать... Я здесь и поэтому – ибо в природе нет ничего, что не вытекало бы одно из другого как следствие и причина – я нахожусь теперь в сфере неизбежных причин и следствий, образующихся уже помимо моей воли...

– Что вам угодно этим сказать? – довольно небрежно проговорил Потемкин.

– Только то, что я уже сказал: единственным моим свободным действием – из нежелания оскорбить отца, из желания хоть несколько примирить его с судьбою и успокоить был мой приезд в Петербург. Все последующее, пока не произойдет чего-либо нового и серьезного, пока я нахожусь в сфере влияния моего свободного действия, то есть приезда сюда, уже не мое дело, а дело обстоятельств, вытекающих одно из другого...

– Вы, государь мой, философ! – улыбнулся Потемкин.

– А вы сами разве не философ?

– Да, и моя философия должна сказать мне, что все ваше обстоятельное, философски повествовательное слово вы вели к тому, чтобы объяснить мне нижеследующее: приятно видеть вас я обязан не вашему желанию, а только силе обстоятельств?

– Совершенно так.

«Светлейший» не хотел сердиться, но он решительно не привык к таким разговорам, и ему невольно становилось не совсем по себе.

– Я вас не держу, коли так! – неопределенным тоном проговорил он.

– Нет, князь, – и блестящий, смущающий взгляд Захарьева-Овинова остановился на Потемкине, – нет, если я подчиняюсь обстоятельствам, подчинитесь и вы. Вы должны по обещанию, данному вами государыне, разглядеть меня хорошенько, расспросить и передать ей свои заключения. Исполняйте же это, а я буду помогать вам.

Потемкин сделал быстрое движение и отбросил от себя подушку. В нем поднималась нервная возбужденность, он начинал интересоваться, хотя и не мог еще определить чем именно. Этот новый русский князь, этот бывший господин Заховинов, так не похожий на других людей, повторил сейчас слова государыни, которых не мог ни слышать, ни знать. Странная случайность!

Захарьев-Овинов между тем продолжал:

– Скажу вам прямо, ибо с вами я хочу говорить прямо: я подчинялся неизбежности ехать к вам с некоторым неудовольствием. Но теперь я чувствую себя хорошо и доволен, что я у вас и с вами. Несмотря на то что я жил очень далеко и своей собственной жизнью, я в эти последние годы не мог не встретиться с вашим именем – оно слишком громко. Я не раз останавливался на вас мыслью, но долго останавливаться мне было некогда, и потому я плохо знал вас. Вижу теперь, что и вообще вас очень плохо знают...

«Странно! странно! – думал Потемкин. – Что он такое говорит, как может он так говорить, и зачем я его слушаю? Это какой-то дерзкий маньяк... какой-то глупец с претензиями...» Однако он его слушал с все возрастающим интересом и невольно любовался его лицом, прекрасным в своем ледяном спокойствии, его светлыми глазами, из которых изливались непонятные лучи. Его влекло к этому дерзкому маньяку, и в то же время он чувствовал в себе что-то как бы даже страшное.

Князь Захарьев-Овинов продолжал:

– Да, вас очень плохо знают... Но это так и нужно... таких людей, как вы, всегда плохо знают...

– Вы говорите, как будто вы-то меня вдруг, мгновенно узнали! – перебил Потемкин и засмеялся. Но это был не самый искренний смех.

– Я теперь вас знаю, Григорий Александрович, – очень твердо и очень спокойно сказал Захарьев-Овинов.

«Григорий Александрович!» Кто же теперь осмеливается так называть его? Но Потемкин этого даже и не заметил.

– Как же вы меня понимаете, государь мой?

– Я понимаю вас как очень несчастного человека.

Потемкин ничего не сказал. Он весь превратился во внимание.

– Вы очень несчастный человек, – продолжал Захарьев-Овинов, – и сами хорошо знаете это. У вас есть все, что вы считали за счастье, а счастья все же нет и никогда не было. Ибо можно ли назвать счастьем краткие мгновения удовлетворенного самолюбия и гордости, преходящие в чувственные удовольствия? Все это может быть счастьем для многих, но не для таких, как вы. Ведь вы знаете, что за такими краткими мгновениями всегда наступают часы и дни пушей тяжести и томления... Достигнуто, выпито до дна – и ничего кроме горечи, ничего кроме сознания, что достигать не стоило! Так ли это, князь? Верно ли я понимаю?

– Верно, – мрачно произнес Потемкин.

– А если верно – значит, я не дерзкий маньяк, не глупец с претензиями, как вы меня сейчас назвали!

– Помилуйте, князь, когда же я... так называл вас?

Лицо «светлейшего» побледнело.

– Все равно – подумали.

Потемкин порывисто встал с дивана и тяжелыми шагами стал ходить по комнате. Брови его сдвинулись, на лбу выступила глубокая морщина. А в голову среди наплывавшего тумана так и стучало: «Что же это? Я сплю?... Я брежу?..»

Странный гость говорил:

– Почему же вы несчастны? У вас есть все, что имеет цену в глазах людей: того, что у вас есть, достаточно с избытком на целую толпу людей, жадных до земного блеска, почестей и славы. Чего же вам надо? Чего вы ищете? Я жду ответа.

И Потемкин ответил:

– Я не знаю, чего ищу, не знаю, чего мне надо; но мне надо чего-то – и я что-то ищу всю жизнь...

– Какое жалкое бессилие при такой силе! – воскликнул Захарьев-Овинов. – Как же вы, человек глубокого разума, не знаете, чего вам надо? Разгадка проста. Если ничто земное не

дает удовлетворения, не может напоить и насытить, если голод и жажда остаются те же, значит, надо искать пищи и питья не на земле, а где-нибудь в ином месте...

– На земле у человека есть обязанности, есть долг... назначение! – сказал Потемкин.

– Правда, но я не хочу сказать, что вы должны покинуть землю, я только говорю, что и на земле не все – земля. И вы хорошо понимаете это, доказательством тому – эта читанная вами книга... Но не в книгах дело! Если вы хотите чего – умеете взять! Вы часто думаете, что вам все доступно. Вам доступно многое, но вы захватили слишком много излишнего и ненужного, и эта ноша вас давит... Сбросите ли вы ее когда-нибудь? Погибнете ли под ее тяжестью?..

Потемкин тяжело дышал. В лице его изображалось смущение, тревога.

– Остановитесь! – глухим голосом произнес он, хватая руку Захарьева-Овинова и крепко сжимая ее своей сильной рукою. – Довольно!.. Это тяжело!.. Но кто же вы, читающий в душе человека, видящий его мысли? Откуда вы пришли, где научились всему этому?.. Кто вы?

– Я человек, которому ничего не надо... Так и скажите обо мне государыне...

XVI

Проходили минуты, прошел час, уже кончался другой, а Потемкин не замечал времени, увлеченный беседой со своим странным гостем.

Теперь он уже перестал смущаться необычностью этой беседы, перестал бороться с неожиданным влиянием на него человека, осмелившегося не только прийти к нему как к равному, но даже глядеть на него, «светлейшего, всемогущего Потемкина», как-то сверху вниз с какой-то дерзновенной, смущающей и непонятной высоты.

Привычка властвовать, повелевать, видеть как должное и естественное общее преклонение и подобоострастие забылась. Потемкин уже не думал о том, что он – Потемкин. Он был теперь только человеком, глубоко неудовлетворенным в своей высшей жажде, томившей его всю жизнь, и жадно впитывал в себя странные, таинственные речи, казавшиеся ему именно той живящей влагой, какую он до сих пор напрасно искал. «Тот, кому ничего не надо», после первых минут борьбы сразу победил его, кому так много было надо и в ком так нуждались. «Маньяк» заморозил его и овладел всем его существом так же всецело, как овладел, даже помимо своей воли, юной и чистой душой «весталки» праздника в Смольном, как овладел томящейся по жизни и счастьем душой красавицы графини Зонненфельд.

Потемкин, наконец, забыл, где он, с кем. Он будто беседовал со своею собственной душою, от которой у него не было и не могло быть никаких тайн. Он переживал снова всю свою внутреннюю жизнь и, останавливаясь на некоторых, особенно памятных ему, мгновениях этой жизни, вопрошал, требовал разъяснений. И всякий раз он получал эти разъяснения и оставался ими совершенно удовлетворенным. Он не имел теперь никакого сомнения в том, что тот, кого он вопрошает, знает все, что ему нечего рассказывать, сообщать какие-либо подробности. Тот, кто говорил с ним, действительно знал всю его внутреннюю жизнь как свою собственную, только знал ее глубже, совершеннее, чем он сам.

Когда наконец чары рассеялись и Потемкин вернулся к материальной действительности, увидел себя среди знакомой обстановки, в халате и туфлях на босу ногу, а перед собою князя Захарьева-Овинова, ему показалось, что он только что проснулся. Что такое было все это? Может быть, действительно, сон? Да и разве это не могло быть сном? Он уж почти хотел спросить об этом своего гостя, хотел перед ним извиниться, что заснул... Он взглянул на часы. Однако этот сон продолжался более двух часов! И гость все здесь, он не изумлен нисколько; его интересное бледное лицо с ясными, жутко блестящими глазами все так же спокойно...

Нет, то был не сон! Но что же? И вдруг Потемкин почувствовал, что не следует, нельзя останавливаться на этом вопросе. Да он и не имел силы на нем остановиться. Его поглотило другое ощущение, другое сознание: он, так многих презиравший, холодный, равнодушный, одинокий, и самого-то себя любивший как будто только по привычке из необходимости, полюбил этого странного человека всем своим мгновенно отогретым сердцем. Он будто возродился, будто вернулся ко дням своей мечтательной юности.

С него вместе с этой вспыхнувшей любовью спала вся тягость лет, почестей, славы, гордости, величия. В его любви была и нежность, и робость, почти поклонение. Произошла сцена, действительности которой вряд ли поверил бы посторонний свидетель. Но такого свидетеля не было и не могло быть – в апартаменты «светлейшего» никто не смел являться без зова.

Потемкин раскрыл свои могучие объятия и с преображенным, прекрасным лицом привлек к себе на грудь князя Захарьева-Овинова.

– Брат! – шептали его губы. – Тебе ничего не надо, но мне надо, чтобы ты был братом, чтобы ты спас меня от тоски, отчаяния и зла.

Захарьев-Овинов спокойно ответил:

– Да ты брат мне; но вряд ли я спасу тебя...

– Разве ты видишь мою неминуемую гибель?

И голос Потемкина невольно дрогнул, и сердце его почти перестало биться в ожидании ответа.

Ответ был:

– Мы всегда стоим над бездной... один неверный шаг – и бездна может поглотить нас... и чем выше мы поднялись, тем гибель наша ужаснее. Я не могу спасти тебя, ибо не я повеваю судьбою... Я могу только предостеречь тебя и предостерегаю: опасность близка, она стучится у раззолоченных дверей твоих. Тебе предстоит роковая встреча. Ты еще раз обольстишь себя чарами женской красоты, забудешь, что такое эти чары и чего они стоят, что скрыто за ними... Но в самую опасную минуту я буду с тобою... Это я тебе обещаю... Только захочешь ли тогда моей помощи?

– Князь, такая опасность, сдается мне, для меня не очень опасна? – сказал Потемкин, и улыбка скользнула по его лицу.

– Ошибаешься и напрасно столь надеешься на свои силы: цепи, сплетенные из цветов, труднее разорвать, чем железные цепи.

– В таком случае, я буду ждать тебя, по твоему слову, в самую опасную минуту... А государыне так и скажу, что ты «человек, которому ничего не надо». Или нет, не скажу ей этого: она таких не встречает и не знает, а потому почувствует в тебе большую необходимость. Ты же должен оставаться вполне свободным. Так ведь?

– Если мне ничего не надо, то, значит, я равнодушен и к рабству, и к свободе. Делай, как знаешь, я полагаюсь на твой разум...

Они обнялись еще раз, и князь Захарьев-Овинов вышел.

XVII

Перед подъездом «светлейшего» дожидалась карета, дверцы которой были украшены гербом с княжеской короной. Захарьев-Овинов молча сел в эту карету. Кучер на мгновение замешкался, ожидая приказа, но так как приказа не последовало, он решил, что, значит, надо ехать домой. Воронье кони тронули быстро, ровною рысью, и минут через пятнадцать карета остановилась перед домом внушительного и барского вида. Старый почтенный камердинер, очевидно, ожидавший у входных дверей, стал было сходить с каменных ступеней, чтобы отворить каретную дверцу, но Захарьев-Овинов уже предупредил его и быстро поднялся по ступеням. Камердинер едва успел распахнуть перед ним тяжелые дубовые двери и в то же время доложить:

– Их сиятельство изволили дважды вас спрашивать и приказали доложить вашей милости, что они ждут вас.

– Хорошо! – сказал Захарьев-Овинов, передавая свой плащ и шляпу камердинеру и направляясь к широкой парадной лестнице, ведущей во второй этаж, где находились парадные комнаты и где также помещался хозяин.

В доме царила глубокая тишина, да и вообще этот красивый, богато обставленный дом производил впечатление покинутого, опустевшего жилища. Здесь прошла смерть, унесла одну за другою три жизни, и это, как и всегда, чувствовалось, если только было кому отдавать себе отчет в своих тонких, но тем не менее не мнимых, а действительных ощущениях.

Захарьев-Овинов прошел обширную залу, где с белых лоснящихся стен глядели старинные, по большей части искаженные неумелой кистью, лики родовых портретов, прошел еще несколько комнат, откуда так и веяло на него следами недавно прерванной и чуждой ему жизни, и постучался у запертой двери.

– Кто там? – расслышал он изнутри.

– Это я, батюшка.

– Войди.

Он вошел, и его взгляд остановился на старике, погруженном в огромное, обложенное подушками кресло. У старика было изнеможенное, желтое, как старый воск, лицо, с почти потухшими глазами, с чертами, уже, очевидно сильно измененными жизнью и страданиями, но все же не лишенными большой привлекательности. Почти вся правая сторона тела старика была парализована. Нога совсем не действовала, рука с трудом поднималась. Несмотря на то что в комнате было жарко, почти душно, старик кутался в меховой халат.

– Здравствуй, сын, – произнес он слабым голосом, кладя на стол книгу, читанную им перед тем.

Сын подошел, наклонился и приложил свои губы к холодной, старческой руке отца.

– Я полагал, что ты уже давно вернулся, – заговорил старик, – и посылал за тобою. Ведь ты сказал мне, что съездишь только к Потемкину. Где же ты был все время?

– Я и был только у Потемкина и теперь прямо от него...

– И то правда я чаю, у него народу видимо-невидимо не доберешься до его новозданной светлости...

– Сегодня у него ни души...

– Так ты, что же, – все время с ним беседовал? – как-то недоверчиво спросил старый князь.

– Да, все время.

Отец поднял на сына свои потухающие глаза и долго глядел на него с неопределенным выражением. Несколько минут продолжалось молчание. Наконец старик прервал его

– Если тебе тяжело со мною, уйди, оставь меня, – сказал он, и голос его задрожал, и в этом голосе слышался вздох.

Сын придвинул себе кресло и сел рядом с отцом. Его спокойное и холодное лицо осталось неизменным, хотя он понял и взгляд отца, и вздох его.

– Батюшка, – произнес он, – мне нисколько не тяжело с вами, тяжело не мне, а вам, и я очень бы желал снять с вас эту тягость.

– Так сними же ее с меня! – и глубокое страдание изобразилось на старом лице князя. – С тех пор как ты со мною, мы еще ни разу не оставались долго наедине... не было времени. Знаю я это... но сегодня я приказал никого не принимать... я хотел бы говорить с тобою и объяснить тебе многое... Да, сними с меня тягость... дай мне почувствовать, что меж нами нет никаких средостений... что ты прощаешь мне свое прошлое.

– Батюшка, мне нечего прощать вам... я благодарен вам за все...

– Нет, не то это, не то! – внезапно оживляясь, забывая свою слабость, свои страдания, воскликнул старый князь, – это слова, я слышу их, но не чувствую...

Сын пристально, своим, как сталь, блестящим и холодным взглядом глядел на отца.

Старик продолжал все с тем же возбуждением:

– Конечно, ты можешь, не зная многого, обвинять меня... Я никогда и ни о чем не говорил с тобою... мы не видались пятнадцать лет, да и последнее свидание наше было кратко. Ты мало знаешь меня, и я мало тебя знаю.

«Кто же виновен в этом?» – пронеслось в мыслях сына и замерло. Он слушал:

– Что было, того не вернуть и не изменить. Оправдываться перед тобой я не могу и не стану. Но я скажу тебе, как все было. Давно, далеко это! Я был молод и жил одними лишь удовольствиями. Проказам моим и счет терялся... Был близок ко двору. Покойница государыня Елизавета Петровна ко мне благоволила, и был я в ее близком кругу еще в трудное ее время, при Анне Иоанновне... Повздорил я как-то с Алешей, ну, знаешь, Разумовским... он, певчий, хохленок, зазнался больно предо мною. Я и отчестил его как подобало... Он бы и ничего, да нашлись другие... доложили. И получил я такое повеление: «Коли не желаю впредь лишиться милостей, отъехать мне в мою новгородскую вотчину Заселье, сидеть там смирно в одиночку, ни с кем не сноситься, одуматься, остынуть и ждать милостивого разрешения вернуться...» Вот я и отъехал, и сидел смирно, ни с кем не сносясь. Как ехал, думал помру с тоски да скуки. А не прошло и десяти дней – началась моя радость. В доме у нас, в Заселье, еще при матушке вырастала Аленушка, дочка покойного отца Никиты, нашего сельского священника. Помнил я ее малым ребенком, а как приехал тогда, вижу: девица красоты несказанной. И как взглянул я на нее, так с той самой минуты ничего другого кругом и не видел. Она и она, везде и во всем она! Полюбили мы – я ее, а она меня – без оглядки, не разлучались ни на час один. И так шли недели, месяц, другой, третий, прошло полгода...

Старый князь остановился весь преображенный. Он даже выпрямился в своем кресле, даже в тусклых глазах его загорелся огонь жизни. Лицо сына оставалось спокойным, только оно как бы слегка потемнело, как бы постарело даже.

Отец продолжал:

– Через полгода пришло ко мне писание за подписью: «Елисавет». Приказано прибыть. Я отписал, что болею... Через месяц новый приказ. Я опять пишу: «Болен-де зело, а как поправлюсь – буду». Еще через месяц третий приказ, строжайший. Нельзя было не ехать. А разлучаться нам с Аленушкой тяжело. Везти ее хотел с собою, да надумал, что обождать надо... не таково было тогда ее здоровье. Тосковал я без нее в Петербурге и дни считал... Вот уже недолго!.. А тут гонец из Заселья: Аленушка родила мне сына, а сама при смерти... Света я не взвидел. Добрая матушка наша Елисавета Петровна как узнала о моем горе, да его увидела, так сама меня послала в Заселье, а тебе крестной матерью быть вызвалась... Не застал я в живых мою Аленушку...

Голос старого князя оборвался. Далекое прошлое встало как живое. Глаза померкли, и из них по желтым высохшим щекам катились одна за другою слезы.

Сын взял руку отца и держал ее в своей, и тепло разливалось по старому больному телу. Это пожатие сыновней руки возбуждало жизнь, смягчало тоску.

– Вот и спадает тяжесть! Ведь так, батюшка?

– Спадает, друг мой! – прошептали бледные губы.

Сын продолжал:

– Да будет же навсегда кончена между нами беседа о прошлом. Все, что вы можете сказать мне, я знаю... Вы любили мать мою... ей не суждено было жить – не ваша в том вина. Вам суждено было жить. Вы утешились, женились, воспитывали детей... Перенесли тяжкие испытания. Теперь исполнили свой долг относительно меня...

– Исполнил ли? Исполнял ли его как следует? – заговорил, снова одушевляясь, князь. – Не смею, не могу таиться пред тобою: до этих тяжелых утрат, до этой моей болезни я очень мало о тебе думал. Судьба лишила тебя матери, но у тебя мог быть отец, а у тебя никого не было. Только теперь я понял это. Ты вырос на чужих руках, ты жил вдали от меня... на чужбине... я забывал даже иной раз посылать тебе деньги... быть может, ты и нуждался...

Сын улыбнулся и покачал головою.

– Я никогда не нуждался. Мне не в чем винить вас, батюшка. Знайте, что если бы я с рождения был князем Захарьевым-Овиновым и жил с вами, в этом доме, окруженный нежными заботами моих кровных, моя судьба была бы не в пример хуже. Знайте, что я доволен своею судьбою, и то, что для другого было бы зло и горе, для меня обращалось в благо...

– Твоя речь темна для меня и непонятна! – печально произнес старик. – Да и сам ты мне непонятен. Я знаю, что ты имеешь большую книжную мудрость, большие познания, но я слишком мало знаю о твоей жизни... А хотелось бы знать, хотелось бы знать, отчего ты такой?

– Какой?

– Не такой, как все... не такой...

Но старый князь не мог уже окончить своей мысли. Сын встал и медленно поднял руку. Глаза отца закрылись в то же мгновение, он откинул голову на подушки и заснул крепким, спокойным сном.

XVIII

Еще несколько минут Захарьев-Овинов держал свою руку над головой отца, и черты старого князя принимали все более и более спокойное, какое-то даже блаженное выражение. Вот слабая улыбка мелькнула на старческих губах, вот желтые, иссохшие щеки покрылись легким румянцем. Старик сделал во сне движение и положил руку себе на сердце. Он прошептал что-то, но что – того нельзя было расслышать.

А в это время перед мысленным взором сына ясно и отчетливо рисовались картины... Ясные летние дни... вековые клены и липы... воды широкой, быстрой реки... таинственная душистая глубина темного соснового бора... бледные вечера, полные неизъяснимой тишины, завораживающей душу... Свет и сиянье юной, доверчивой красоты... молодая любовь – земная, горячая, безумная и могучая, как вся эта природа...

«Переживай бывшее свое опьянение – оно все же было самым сладким из всех твоих опьянений, переживай его снова и отдыхай от страданий бедной, износившейся плоти... вот тебе дар мой! – и он для тебя во сто крат драгоценнее, чем для меня все то, что ты теперь дашь мне!»

Так подумал Захарьев-Овинов и, еще раз устремив свой холодный, властный взгляд на спящего отца, вышел из комнаты. Он снова прошел пустыми парадными покоями и спустился с лестницы в нижний этаж, в занимаемое им помещение. По приезде из-за границы в отцовский дом он сам себе выбрал эти три комнаты, небольшие и довольно темные, выходившие окнами в маленький, но густо заросший садик. Эти комнаты чуть ли не с самого основания дома никогда не были жилыми и всегда предназначались для приезжающих. Захарьев-Овинов выбрал их именно оттого, что они не были жилыми. Да и то он их три дня проветривал, держа окна настежь и приказав хорошенько топить печи, несмотря на теплую весеннюю погоду. Затем он сам по нескольку раз в день окуривал каждую комнату каким-то очень ароматическим курением и опрыскивал все стены и всю мебель какой-то душистой зеленого цвета жидкостью. Теперь, несмотря на открытые окна, в комнатах стоял пропитавший все несколько одуряющий и странный запах, очевидно, приятный и привычный хозяину. Захарьев-Овинов, придя к себе, снял в спальне свое нарядное одеяние и надел черный бархатный кафтан, бывший его любимой домашней одеждой. Затем он вышел в первую комнату, более обширную, чем две другие, и служившую ему для занятий, которым он с первого дня своего приезда посвящал немало времени. Здесь стоял большой дубовый стол; на столе несколько книг, шкатулка чудесной мозаичной работы, чернильница и пенал с гусиными перьями.

Захарьев-Овинов присел к столу, отпер шкатулку, вынул из нее объемистую тетрадь и принялся писать.

Но не пришлось ему исписать и полстраницы, как в дверь раздался стук. Он поднял голову, прислушался, досадливое чувство мелькнуло на его лице, но оно тотчас же и пропало. Он взял свою рукопись и спрятал снова в шкатулку. За дверью вместе с повторенным стуком раздался голос:

– Князь, ваш слуга не виноват, я не допустил его докладываться... Коли заняты – скажите прямо, а коли можете – впустите меня к себе без церемонии... Узнаете мой голос?

– Узнаю, милости просим, граф! – ответил Захарьев-Овинов, подходя к двери и отпирая ее.

Пред ним в золоте и регалиях, сиявший довольством, стоял граф Александр Сергеевич Сомонов. Они поздоровались. Граф поспешно вошел, будто боясь, что хозяин не впустит к себе, а попросит в парадные комнаты, тогда как он именно, даже не думая о своей назойливости, вовсе не бывшей в его характере, постарался проникнуть сюда. Быстрым любопыт-

ным взглядом в одно мгновение граф оглядел всю комнату. Но этот первый осмотр не мог удовлетворить его. Он не увидел ровно ничего необыкновенного и особенного, чего, по-видимому, ожидал.

Комната «нового князя» была самой обыкновенной комнатой с тяжелой кожаной мебелью, большим книжным шкафом и несколькими картинами по стенам. Вся эта обстановка, очевидно, была здесь и прежде, до приезда нового хозяина, и ровно ни о чем не говорила.

Захарьев-Овинов предложил своему гостю кресло.

– Зачем же вы меня обманули, князь? – начал граф Сомонов. – Обещались приехать ко мне третьего дня обедать, да и не пожаловали.

– Я сам очень жалел о том, – отвечал Захарьев-Овинов, – но в письме моем я изложил причины невозможности быть у вас: неотложные дела, связанные с моим новым положением, а также здоровье отца... Он с утра чувствовал себя очень дурно и просил меня не выезжать; весь день меня задерживали.

– Да, конечно, – протянул Сомонов, – я все это понимаю и не претендую, только жаль, я так ждал вас... да и не я один.

Захарьев-Овинов улыбнулся.

– Вы чересчур любезны! Мое присутствие, пожалуй, бы только испортило настроение и ваше, и ваших гостей. Потерял я, а не вы.

– Однако, князь, – перебил его Сомонов, – дело вовсе не в комплиментах. Мне и моим друзьям вы крайне нужны – и сами знаете почему.

Захарьев-Овинов еще раз улыбнулся.

– В этом-то и дело, граф, что я не знаю, или, вернее, я знаю, что вы возлагаете на меня такие ожидания, каких я удовлетворить не могу.

Сомонов даже вспыхнул.

– К чему мистификации! – воскликнул он. – Ведь я не один год имел о вас известия. Да и вы же привезли мне из-за границы письма, тоже доказывающие, что я на ваш счет не заблуждался. Я знаю, что вы занимаетесь великой и единой наукой природы, которая составляет высший интерес моей жизни, и я имею все основания предполагать, что в вас мы можем и должны найти человека для нас крайне нужного, по всем данным, опытного руководителя.

Захарьев-Овинов пожал плечами.

– Уверяю вас, граф, вы заблуждаетесь... Великая наука природы! Мне незачем скрывать, что я вообще не чужд любознательности... Скитаясь по свету, я учился всему, чему мог, я искал встреч с учеными людьми, водил с ними знакомства, беседовал, поучался от них, немало с ними спорил. В числе моих знакомых и даже друзей есть франкмасоны. Я знаю, что вы всем этим интересуетесь, всякими мистическими вопросами. Слышал, а теперь убеждаюсь, что вы занимаетесь каббалистикой и вообще древними, давно отвергнутыми науками. Я всегда буду рад случаю беседовать с вами обо всем этом, так как вопросы эти и меня в достаточной мере интересуют... Но вот и все. Я не могу принять на себя той роли, какую вам угодно придавать мне, не могу потому, что это не моя роль.

Сомонов пытливо глядел на него, но ровно ничего не мог прочесть в его холодном, неопределенно улыбающемся лице.

– Однако, – запинаясь, произнес он, – как же это? Положим, в доставленных мне письмах нет указаний... но по прежним письмам...

– Что же, граф, говорили обо мне эти прежние письма ваших заграничных корреспондентов?

Сомонов начинал волноваться. Он почувствовал себя в каком-то неловком, странном положении, «Зачем он меня дурачит, – думал он, – что нужно, чтобы заставить его быть откровенным?»

– В прежних письмах, – воскликнул он, – нас извещали о скором вашем приезде и обещали нам многое от вашего приезда. Я и небольшой кружок моих друзей, преданных общим интересам и занятиям, ждали вас, как манны небесной...

– Не меня вы ждали и не обо мне вас извещали, – совсем просто сказал Захарьев-Овинов.

– Как! – Сомонов не знал, что думать, он окончательно растерялся.

– В скором времени, действительно, должен сюда приехать тот, кого вы ждете и о ком вам писали. Согласитесь же, что мне не пристало быть самозванцем и что вы, граф, ставите меня в неловкое положение.

Сомонов едва верил ушам своим.

– Кто же это должен приехать? – прошептал он, почти бессмысленно глядя на Захарьева-Овинова.

– Кто? Великий чародей, каким его считают многие в Европе... человек, имеющий много названий, но более всего известный под именем графа Калиостро.

При звуке этого имени Сомонов вскочил с кресла, и вместо неприятного смущения, в каком он до сих пор находился, на лице его изобразилась радость, чрезмерная, восторженная.

– Возможно ли это?.. К нам едет сам божественный Калиостро! – вскрикнул он, – *le divin Gagliostro!.. Dieu, quel bonheur!*

Захарьев-Овинов глядел на него серьезно и спокойно, но, очевидно, не замечал его, не слышал – мысли внезапно ушли очень далеко.

– Князь, вы его знаете? Вы с ним близко знакомы?.. Князь, да что же вы?

Захарьев-Овинов очнулся.

– Да... вы про Калиостро... нет, я не знаком с ним, никогда не встречался...

– Не может того быть!.. Я не в силах понять, зачем вам надобно от меня скрываться?

– Уверяю вас, что я с ним не знаком, ни разу не пришлось встретиться... по слухам же я, конечно, его хорошо знаю.

– И он сюда едет? Это верно?..

– Не едет еще, но скоро приедет, если вы его позовете... От вас зависит... только уверены ли вы, что его приезд вам нужен и принесет какую-нибудь пользу?

Сомонов ничего не ответил, а только посмотрел на князя с сожалением.

– В таком случае пишите ему, приглашайте его, и я вам ручаюсь, что он не замедлит воспользоваться вашим приглашением... Но...

Захарьев-Овинов остановился, не dokonчив фразы, он видел, что всякое «но» теперь бесполезно.

– Я сегодня же, сейчас же буду писать ему... пошлю мое письмо с курьером, – взволнованно и уже сам с собою повторял Сомонов и стал поспешно прощаться.

Захарьев-Овинов проводил его, вернулся, запер дверь на ключ и снова вынул свою тетрадь из мозаичной шкатулки.

«Бабочки!.. мошки!.. – думал он, – так и летят на свечу... и опалят свои слабые крылья... и погибнут... да и свеча сгорит и исчезнет бесследно, хоть и возжена была от вечного, животворного огня мира... Вам открыть великие тайны природы!.. Для вас нарушить священный обет молчания!.. Нет, не к вам я пришел, и мне некуда вести вас... Перед вами я останусь в одежде, данной мне теперь, быть может, именно затем, чтобы вернее скрыть себя от очей ваших...»

Часть вторая

I

Огромное богатство, крепкое здоровье, привлекательная внешность, любовь к добру и красоте – всем этим благосклонная судьба в избытке наделила графа Александра Сергеевича Сомонова. С первых дней его жизни перед ним была расчищена широкая дорога всяких благополучий и наслаждений, всего, о чем бесплодно мечтают не только пасынки судьбы и природы, но иной раз и законные, истинные дети той же судьбы, той же природы.

Все сложилось так, что графу легко было не только самому жить привольно, весело и счастливо, но и разливать вокруг себя довольство и веселье. Врожденные склонности к этому его и побуждали. Придя в зрелый возраст и став обладателем огромного наследственного состояния, первые основы которого были положены не Бог знает в какой древности трудом его предка, вышедшего из русского крестьянства, граф озаботился прежде всего своим весельем и весельем своих ближних.

Ему пришло в голову выстроить на одной из окраин Петербурга роскошную дачу, окруженную огромным садом, где могли бы гулять и отдыхать не только его знакомые, но и вообще все жители Петербурга.

Граф любил искусства и был достаточно глубоким знатоком их. Он не только покупал в Европе художественные произведения, но и мечтал о русском искусстве. Присматривая русских талантливых людей и найдя человека, казавшегося ему талантливым, он всегда покровительствовал такому человеку. Так он воспитал и вывел в люди, между прочим, молодого способного архитектора, по фамилии Воронихин. Этому-то архитектору он и поручил постройку своей дачи. Работа закипела, и на удивление всем быстро воздвигался огромный дом превосходной внушительной архитектуры.

Затем граф скупил смежные земли, покрытые густым лесом, спускавшимся к самой речке, и менее чем в год мечта его осуществилась – запущенный лесок превратился в прекрасный, разбитый по плану того же Воронихина, сад.

В саду этом среди беседок, киосков и всяких живописных уголков, посвященных отдохновению и мирной беседе, возвышались драгоценные скульптурные произведения, вывезенные из-за границы. Свободно пускаемая в графский сад публика могла дивоваться и любоваться на сфинксов, центавров, на огромные и грациозные мраморные вазы, наполненные душистыми цветами.

Посреди обширного пруда, окаймленного ярко-зеленым бархатистым газоном, возвышалась гигантская фигура Нептуна с трезубцем.

По сторонам графской террасы сверкали своей мраморной белизной чудной работы статуи, изображавшие Геркулеса и Флору Фарнезских.

В зимнее время графский сад бывал обыкновенно наглухо заперт. Но едва весна вступала в свои права, он отпирался и становился всем доступным. Летом граф жил вместе с двором в Царском Селе, но накануне праздников и воскресных дней он неизменно приезжал на свою дачу, и тогда здесь наступало с утра и до вечера великое пирование. Музыка всюду оглашала древесные своды. Петербургские жители стремились в графский сад и зачастую проводили со своими семьями весь день. Никакого ресторана тут не было, а между тем каждый мог получить и кушанье, и всякие крепкие напитки за самую дешевую цену. Огромная графская дворня устроила себе из продовольствия посетителей весьма выгодное занятие. И кушанья, и напитки получались даром. То есть на счет графа, и таким образом всякая,

хотя бы и самая дешевая плата, взимаемая с гулявших, была чистой прибылью для графской прислуги.

Насытись, напившись и наслушавшись музыки, каждый мог идти к самой террасе дачи и присутствовать в качестве свободного зрителя на графском пиршестве.

Граф Александр Сергеевич и его многочисленные гости нисколько не смущались, превращаясь, так сказать, в актеров и становясь средоточием бесчисленных взглядов толпы. Эти взгляды ничуть не мешали им пировать и веселиться. С террасы несмолкаемо доносился смех, шумный разговор, оживленные споры.

А весьма часто случалось и так, что по знаку добродушного хозяина вдруг раздавались звуки веселой плясовой музыки. Граф посылал всем посетителям сада приглашение потанцевать на расчищенной площадке перед террасой.

Это приглашение тотчас же принималось, устраивались танцы и, наконец, кончалось тем, что сам именитый хозяин присоединялся к танцующим, предлагал руку первой пригласившейся ему даме или девице и начинал с нею танец.

Популярность графа Александра Сергеевича была велика. В Петербурге его почти все знали в лицо. Он приветливо отвечал на обращаемые к нему почтительные поклоны, ласково улыбался всем красивым женщинам, ласкал детей. Но в то же время никогда не терял он своего достоинства. Доброта, ласковость и простота его обращения, запанибратство с людьми самых различных классов общества нисколько не мешали каждому и каждой видеть и чувствовать в нем настоящего вельможу и уважать его. В то же время его простота и эти праздники, в которых он принимал участие, многим давали возможность обращаться к нему лично со всевозможными просьбами о помощи. Граф принимал все просьбы, и широкая его благотворительность иной раз граничила просто с расточительностью. Он помогал без всякого разбору, сыпал деньгами направо и налево.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.